





Юрий ТЫНЯНОВ



КЮХЛЯ СМЕРТЬ ВАЗИР-МУХТАРА ПУШКИН

ИСТОРИЧЕСКИЕ РОМАНЫ

ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ
В ОДНОМ ТОМЕ



Издательство
АЛЬФА-КНИГА
Москва
2017

УДК 821.161.1
ББК 84(Рус)6-5
Т93

Серия основана в 2007 году

Тынянов Ю. Н.

Т93 Кюхля. Смерть Вазир-Мухтара. Пушкин: Исторические романы. Полное издание в одном томе. — М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2017. — 1246 с.: ил. — (Полное издание в одном томе).

ISBN 978-5-9922-0786-6

В настоящем издании публикуются три исторических романа известного российского писателя и литературоведа Ю. Н. Тынянова (1894 — 1943).

«Кюхля» посвящен Вильгельму Кюхельбекеру — лицейскому товарищу А. Пушкина, ставшему декабристом и пережившему ссылку, в «Смерти Вазир-Мухтара» Ю. Тынянов описывает последний год жизни замечательного поэта и дипломата А. С. Грибоедова, автора блистательной комедии «Горе от ума», а самый знаменитый роман Тынянова «Пушкин» посвящен молодым годам жизни и творческому становлению великого русского поэта.

В приложение включены исторические повести и рассказы: «Подпоручик Киж», «Восковая персона», «Малолетний Витушишников», а также пьеса «Четырнадцатое декабря».

УДК 821.161.1
ББК 84(Рус)6-5

ISBN 978-5-9922-0786-6

© Ю. Тынянов. Наследники, 2017
© «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2017

КЮХЛЯ

Вилля

1

Вильгельм кончил с отличием пансион.

Он приехал домой из Верро изрядно вытянувшийся, ходил по парку, читал Шиллера и молчал загадочно. Устинья Яковлевна видела, как, читая стихи, он оборачивался быстро и, когда никого кругом не было, прижимал платок к глазам.

Устинья Яковлевна незаметно для самой себя подкладывала потом ему за обедом кусок получше.

Вильгельм был уже большой, ему шел четырнадцатый год, и Устинья Яковлевна чувствовала, что нужно с ним что-то сделать.

Собрался совет.

Приехал к ней в Павловск молодой кузен Альбрехт, затянутый в гвардейские лосины, прибыла тетка Брейткопф, и был приглашен маленький седой старичок, друг семьи, барон Николаи. Старичок был совсем дряхлый и нюхал флакончик с солью. Кроме того, он был сластена и то и дело глотал из старинной бонбоньерки леденец. Это очень развлекало его, и он с трудом мог сосредоточиться. Впрочем, он вел себя с большим достоинством и только изредка путал имена и события.

— Куда определить Вильгельма? — Устинья Яковлевна с некоторым страхом смотрела на совет.

— Вильгельма? — переспросил старичок очень вежливо: — это Вильгельма определить? — и понюхал флакончик.

— Да, Вильгельма, — сказала с тоскою Устинья Яковлевна.

Все молчали.

— В военную службу, в корпус, — сказал вдруг барон необычайно твердо. — Вильгельма в военную службу.

Альбрехт чуть-чуть сощурился и сказал:

— Но у Вильгельма, кажется, нет расположения к военной службе.

Устинья Яковлевне почудилось, что кузен говорит немного свысока.

— Военная служба для молодых людей это все, — веско сказал барон, — хотя я сам никогда не был военным... Его надо зачислить в корпус.

Он достал бонбоньерку и засосал леденчик.

В это время Устинька-Маленькая вбежала к Вильгельму. (И мать и дочь носили одинаковые имена. Тетка Брейткопф называла мать Justine, а дочку Устинькой-Маленькой.)

— Виля, — сказала она, бледнея, — иди послушай, там о тебе говорят.

Виля посмотрел на нее рассеянно. Он уже два дня шептался с Сенькой, дворовым мальчишкой, по темным углам. Днем он много писал что-то в тетрадку, был молчалив и таинственен.

— Обо мне?

— Да, — зашептала Устинька, широко раскрыв глаза, — они хотят тебя отдать на войну или в корпус.

Вилли вскочил.

— Ты знаешь наверное? — спросил он шепотом.

— Я только что слышала, как барон сказал, что тебя нужно отправить на военную службу в корпус.

— Клянись, — сказал Вильгельм.

— Клянусь, — сказала неуверенно Устинька.

— Хорошо, — сказал Вильгельм, бледный и решительный, — ты можешь идти.

Он опять засел за тетрадку и больше не обращал на Устиньку никакого внимания.

Совет продолжался.

— У него редкие способности, — говорила, волнуясь, Устинья Яковлевна, — он расположен к стихам, и потом я думаю, что военная служба ему не подойдет.

— Ах, к стихам, — сказал барон. — Да, стихи, это уже другое дело.

Он помолчал и добавил, глядя на тетку Брейткопф:

— Стихи — это литература.

Тетка Брейткопф сказала медленно и отчеканивая каждое слово:

— Он должен поступить в Лицею.

— Но ведь это, кажется, во Франции — Лусée¹, — сказал барон рассеянно.

— Нет, барон, это в России, — с негодованием отрезала тетка Брейткопф, — это в России, в Сарском Селе, полчаса ходьбы отсюда. Это будет благородное заведение. Justine, верно, даже об этом знает: там должны, кажется, воспитываться, — и тетка сделала торжествующий жест в сторону барона, — великие князья.

— Прекрасно, — сказал барон решительно, — он поступает в Лусée.

Устинья Яковлевна подумала:

«Ах, какая прекрасная мысль. Это так близко».

¹ Лицей (франц.).

— Хотя, — вспомнила она, — великие князья там не будут воспитываться, это раздумали.

— И тем лучше, — неожиданно сказал барон, — тем лучше, не поступают и не надо. Вильгельм поступает в Лусée.

— Я буду хлопотать у Барклаев, — взглянула Устинья Яковлевна на тетку Брейткопф. (Жена Барклая де Толли была ее кузина.) — Ее величество не нужно слишком часто тревожить. Барклаи мне не откажут.

— Ни в каком случае, — сказал барон, думая о другом, — они вам не смогут отказать.

— А когда ты переговоришь с Барклаем, — добавила тетка, — мы попросим барона отвезти Вильгельма и определить его.

Барон смутился.

— Куда отвезти? — спросил он с недоумением, — но Лусée ведь не во Франции. Это в Сарском Селе. Зачем отвозить?

— Ах, бог мой, — сказала тетка нетерпеливо, — но их там везут к министру, графу Алексею Кирилловичу. Барон, вы старый друг, и мы надеемся на вас, вам это удобнее у министра.

— Я сделаю все, решительно все, — сказал барон. — Я сам отвезу его в Лусée.

— Спасибо, дорогой Иоанникий Федорович.

Устинья Яковлевна поднесла платок к глазам.

Барон тоже прослезился и разволновался необычайно.

— Надо его отвезти в Лусée. Пусть его собирают, и я его повезу в Лусée.

Слово Лусée его заворожило.

— Дорогой барон, — сказала тетка, — его надо раньше представить министру. Я сама привезу к вам Вильгельма, и вы поедете с ним.

Барон начинал ей казаться институткой. Тетка Брейткопф была маман¹ Екатерининского института.

Барон встал, посмотрел с тоской на тетку Брейткопф и поклонился:

— Я, поверьте, буду ждать вас с нетерпением.

— Дорогой барон, вы сегодня ночуете у нас, — сказала Устинья Яковлевна, и голос ее задрожал.

Тетка приоткрыла дверь и позвала:

— Вильгельм!

Вильгельм вошел, смотря на всех странным взглядом.

— Будь внимателен, Вильгельм, — торжественно сказала тетка Брейткопф. — Мы решили сейчас, что ты поступишь в Лицею. Эта Лицея открывается совсем недалеко — в Сарском Селе. Там тебя будут учить всему — и стихам тоже. Там у тебя будут хорошие товарищи.

Вильгельм стоял как вкопанный.

¹ Начальница (франц.).

— Барон Иоанникий Федорович был так добр, что согласился сам отвезти тебя к министру.

Барон перестал сосать леденец и с интересом посмотрел на тетку.

Тогда Вильгельм, не говоря ни слова, двинулся вон из комнаты.

— Что это с ним? — изумилась тетка.

— Он, верно, расстроен, бедный мальчик, — вздохнула Устинья Яковлевна.

Вильгельм не был расстроен. Просто на эту ночь у него с Сенькой был назначен побег в город Верро. В городе Верро ждала его Минхен, дочка его почтенного тамошнего наставника. Ей было всего двенадцать лет. Вильгельм перед отъездом обещал, что похитит ее из отчего дома и тайно с ней обвенчается. Сенька будет его сопровождать, а потом, когда они поженятся, все втроем будут жить в какой-нибудь хижине, вроде швейцарского домика, собирать каждый день цветы и землянику и будут счастливы.

Сенька был согласен на все.

Ночью Сенька тихо стучит в Вилино окно.

Все готово.

Вильгельм берет свою тетрадку, кладет в карман два сухаря, одевается. Окно не затворено с вечера — нарочно. Он осторожно обходит кровать маленького Мишки, брата, и лезет в окно.

В саду оказывается жутко, хотя ночь светлая.

Они тихо идут за угол дома, — там они перелезут через забор. Перед тем как уйти из отчего дома, Вильгельм становится на колени и целует землю. Он читал об этом где-то у Карамзина. Ему становится горько, и он проглатывает слезу. Сенька терпеливо ждет.

Они проходят еще два шага и наталкиваются на раскрытое окно.

У окна сидит барон в шлафроке и ночном колпаке и равнодушно смотрит на Вильгельма.

Вильгельм застывает на месте. Сенька исчезает за деревом.

— Добрый вечер, Вильгельм, — говорит барон снисходительно, без особого интереса.

— Добрый вечер, — отвечает Вильгельм, задыхаясь.

— Очень хорошая погода — совсем Венеция, — говорит барон, вздыхая. Он нюхает флакончик. — Такая погода в мае бывает, говорят, только в високосный год.

Он смотрит на Вильгельма и добавляет задумчиво:

— Хотя теперь не високосный год. Как твои успехи? — спрашивает он потом с любопытством.

— Благодарю вас, — отвечает Вильгельм, — из немецкого хорошо, из французского тоже.

— Неужели? — спрашивает изумленно барон.

— Из латинского тоже, — говорит Вильгельм, теряя почву под ногами.

— А, это другое дело, — барон успокаивается.

Рядом раскрывается окно, и показывается удивленная Устинья Яковлевна в ночном чепце.

— Добрый вечер, Устинья Яковлевна, — вежливо говорит барон, — какая чудесная погода. Я прямо дышу этим воздухом.

— Да, — говорит, оторопев, Устинья Яковлевна, — но как здесь Вильгельм? Что он делает здесь ночью в саду?

— Вильгельм? — переспрашивает рассеянно барон. — Ах, Вильгельм, — спохватывается он. — Да, но Вильгельм тоже дышит воздухом. Он гуляет.

— Вильгельм, — говорит Устинья Яковлевна с широко раскрытыми глазами, — поди сюда.

Вильгельм, замирая, подходит.

— Что ты здесь делаешь, мой мальчик?

Она испуганно смотрит на сына, протягивает сухонькую руку и гладит его жесткие волосы.

— Иди ко мне, — говорит Устинья Яковлевна, глядя на него с тревогой. — Влезай ко мне в окно.

Вильгельм, понутив голову, лезет в окно к матери. Слезы на глазах у Устиньи Яковлевны. Видя эти слезы, Вильгельм вдруг всхлипывает и рассказывает все, все. Устинья Яковлевна смеется и плачет и гладит сына по голове.

Барон еще долго сидит у окна и нюхает флакончик с солями. Он вспоминает одну итальянскую артистку, которая умерла лет сорок назад, и чуть ли не воображает, что находится во Флоренции.

2

Барон надевает старомодный мундир с орденами, натягивает перчатки, опираясь на палку, берет под руку Вильгельма, и они едут к графу Алексею Кирилловичу Разумовскому, министру.

Они входят в большую залу с колоннами, увешанную большими портретами. В зале человек двенадцать взрослых, и у каждого по мальчику. Вильгельм проходит мимо крошечного мальчика, который стоит возле унылого человека в чиновничьем мундире. Барон опускается в кресла. Вильгельм начинает оглядываться. Рядом с ним стоит черненький, вертлявый как обезьяна, мальчик. Его держит за руку человек в черном фраке, с орденом в петличке.

— Мишель, будьте же спокойны, — картавит он по-французски, когда мальчик начинает делать Вильгельму гримасы.

Это француз-гувернер Московского университетского пансиона пришел определять Мишу Яковлева.

Неподалеку от них стоит маленький старичок в парадной форме адмирала. Брови его насуплены, он, как и барон, опирается на палочку. Он сердит и ни на кого не смотрит. Возле него стоит мальчик, румяный, толстый, с светлыми глазами и русыми волосами.

Завидев барона, адмирал проясняется.

— Иоанникий Федорович? — говорит он хриплым баском.

Барон перестает сосать леденец и смотрит на адмирала. Потом он подходит к нему, жмет руку.

— Иван Петрович, дорогой адмирал.

— Петр Иванович, — ворчит адмирал, — Петр Иванович, что ты, батюшка, имена стал путать.

Но барон, не смущаясь, пускается в разговор. Это его старый приятель — у барона очень много старых приятелей — адмирал Пушин. Адмирал недоволен. Он ждет министра уже с полчаса. Проходят еще пять минут. Вильгельм смотрит на румяного мальчика, а тот с некоторым удивлением рассматривает Вильгельма.

— Ваня, — говорит адмирал, — походите по залу.

Мальчики неловко идут по залу, пристально смотрят друг на друга. Когда они проходят мимо Миши Яковлева, Миша быстро показывает им язык. Ваня говорит Вильгельму:

— Обезьяна.

Вильгельм отвечает Ване:

— Он совсем как паяс.

Адмирал начинает сердиться. Он стучит палкой. Одновременно стучит палкой и барон. Адмирал подзывает дежурного чиновника и говорит ему:

— Его превосходительство намерен сегодня нас принять?

— Простите, ваше превосходительство, — отвечает чиновник, — его превосходительство кончает свой туалет.

— Но мне нужен Алексей Кириллович, — говорит, выходя из себя, адмирал, — а не туалет его.

— Немедля доложу, — чиновник с полупоклоном скользит в соседний зал.

Через минуту всех зовут во внутренние комнаты. Прием начинается.

К адмиралу подходит щеголь в черном фраке и необыкновенном жабо, крепко надушенный и затянутый. Глазки у него живые, чуточку косые, нос птичий, и, несмотря на то, что он стяннут в рюмочку, у щеголя намечается брюшко.

— Петр Иванович, — говорит он необыкновенно приятным голосом и начинает сыпать в адмирала французскими фразами.

Адмирал терпеть не может ни щеголей, ни французятины и, глядя на щеголя, думает: «Эх, шалбер» (шалберами он зовет всех щеголей); но почет и уважение адмирал любит.

— Вы кого же, Василий Львович, привезли? — спрашивает он благосклонно.

— Племянника, Сергей Львовичева сына. — Саша, — зовет он.

Саша подходит. Он курчавый, быстроглазый мальчик, смотрит

исподлобья и ходит увальнем. Увидя Вильгельма, он смеется глазами и начинает за ним тихо наблюдать.

В это время из кабинета министра выходит высокий чиновник; он держит в руках лист и выкликает фамилии.

— Барон Дельвиг, Антон Антонович!

Бледный и пухлый мальчик с сонным лицом идет неохотно и неуверенно.

— Комовский!

Крохотный мальчик семенит аккуратно маленькими шажками.

— Яковлев!

Маленькая обезьяна почти бежит на вызов.

Чиновник вызывает Пушина, Пушкина, Вильгельма.

У министра жутковато. За столом, покрытым синей скатертью с золотой бахромой, сидят важные люди. Сам министр — с лентой через плечо, толстый, курчавый, с бледным лицом и кислой улыбкой, завитой и напомаженный. Он лениво шутит с длинным человеком в форменном мундире, похожим не то на семинариста, не то на англичанина. Длинный экзаменует. Это Малиновский, только что назначенный директор Лицея. Он задает вопросы, как бы отстукивая молоточком, и ждет ответа, склонив голову набок. Экзамен кончается поздно. Все разъезжаются. Яковлев на прощанье делает такую гримасу, что Пушкин скалит белые зубы и тихонько толкает Пушина в бок.

3

19 октября Вильгельм долго обряжался в парадную форму. Он натянул белые панталоны, надел синий мундирчик, красный воротник которого был слишком высок, повязал белый галстук, оправил белый жилет, натянул ботфорты и с удовольствием посмотрел на себя в зеркало. В зеркале стоял худой и длинный мальчик с вылупленными глазами, ни дать, ни взять похожий на попугая.

Когда в лицейском коридоре все стали строиться, Пушкин посмотрел на Вильгельма и засмеялся глазами. Вильгельм покраснел и замотал головой, как будто воротник ему мешал. Их ввели в зал. Инспектор и гувернеры, суеятся, расставили всех в три ряда и сами, стали перед ними, как майоры на разводе.

Между колонн в лицейском зале стоял бесконечный стол, покрытый до пола красным сукном с золотой бахромой. Вильгельм зажмурил глаза — столько было золота на мундирах.

В креслах сидел бледный, пухлый, завитой министр и разговаривал с незнакомым старцем. Он осмотрел тусклым взглядом всех, потом сказал что-то на ухо бледному директору, от чего тот побледнел еще больше и вышел.

Тишина.

Открылась дверь, и вошел царь. Голубые глаза его улыбались на

все стороны, щегольской сюртук сидел в обтяжку на пухлых боках; он сделал белой рукой жест министру и указал на место рядом с собой. Нескладный и длинный, шел рядом с ним великий князь Константин. Нижняя губа его отвисла, он имел заспанный вид, горбился, мундир сидел на нем мешком. Рядом с царем, с другой стороны, двигалась белая кружевная пена — императрица Елизавета, и шумел на всю залу ломкий шелк — шла старая императрица.

Уселись. Со свертком в руке, дрожа от волнения и еле передвигая длинными йогами, вышел директор и, запинаясь, глухим голосом, стал говорить про верноподданнические чувства, которые надлежало куда-то внедрить, развить, утвердить. Сверток плясал в его руках. Он, как замороженный, смотрел в голубые глаза царя, который, подняв брови и покусывая губы, его не слушал. Адмирал Пущин стал громко кашлять, Василий Львович чихнул на весь зал и покраснел от смущения. Только барон Николаи смотрел на директора с одобрением и нюхал свой флакончик.

«Его величество» слышалось среди бормотания, потом опять: «его величество», и опять бормотание. Директор сел, адмирал отдышался.

За директором выступил молодой человек, прямой, бледный. Он не смотрел, как директор, на царя, он смотрел на мальчиков. Это был Куницын, профессор нравственных наук.

При первых звуках его голоса царь насторожился.

— Под наукой общежития, — говорил Куницын, как бы порицая кого-то, — разумеется не искусство блистать наружными качествами, которые нередко бывают благодивною личиною грубого невежества, но истинное образование ума и сердца.

Протянув руку к мальчикам, он говорил почти мрачно:

— Настанет время, когда отечество поручит вам священный долг хранить общественное благо.

И ничего о царе. Он как бы забыл о его присутствии. Но нет, вот он вполоборота поворачивается к нему:

— Никогда не отвергает государственный человек народного вопля, ибо глас народа есть глас Божий.

И опять он смотрит только на мальчиков, и голос его опять укориженный, а движения руки быстрые.

— Какая польза гордиться титлами, приобретенными не по достоянию, когда во взорах каждого видны укоризна или презрение, хула или нареkanie, ненависть или проклятие? Для того ли должно искать отличий, чтобы, достигнув оных, страшиться беславия?

Вильгельм, не отрываясь, смотрит на Куницына. Неподвижное лицо Куницына бледно.

Царь слушает прилежно. Он даже приложил белую ладонь к уху: глуховат. Его щеки слегка порозовели, глаза следят за оратором. Министр с кислым, значительным выражением смотрит на Куницына — и искоса на царя. Он хочет узнать, какое впечатление странная речь

производит на его величество. Но царские глаза не выражают ничего, лоб нахмурен, а губы улыбаются.

И вдруг Куницын как бы невольно взглянул в сторону министра. Министр прислушивается к напряженному голосу профессора.

— Представьте на государственном месте человека без познаний, которому известны государственные должности только по имени: вы увидите, как горестно его положение. Не зная первоначальных причин благоденствия и упадка государств, он не в состоянии дать постоянного направления делам общественным, при каждом шаге заблуждается, при каждом действии переменяет свои силы. Исправляя одну погрешность, он делает другую; искореняя одно зло, полагает основание другому; вместо существенных выгод стремится за посторонними.

Бледные, отвисшие щеки министра вспыхивают. Он закусывает губы и уже больше не смотрит на оратора. Барон Николаи в публике усиленно нюхает флакончик. Василий Львович сидит приоткрыв рот, от чего лицо его необыкновенно глупеет.

Голос Куницына звучен; и он больше не смотрит на мальчиков, он смотрит в пустое пространство, чтобы не смотреть на министра и царя:

— Утомленный тщетными трудами, терзаемый совестью, гонимый всеобщим негодованием, такой государственный человек предается на волю случая или делается рабом чужих предрассудков. Подобно безрассудному пловцу, он мчится на скалы, окруженные печальными остатками многократных кораблекрушений. В то время, когда бы надлежало пользоваться вихрями грозных туч, он предается их стремлению и, усмотрев разверзающуюся бездну, ищет пристанища там, где море не имеет пределов.

Спокойный, прямой как струна, молодой профессор садится. Щеки его горят. Министр смотрит косвенным взглядом на царя.

Вдруг рыжеватая голова склоняется с одобрением: царь вспомнил, что он первый либерал страны.

Он небрежно склоняется к министру и говорит громким шепотом:

— Представьте к отличию.

Министр, выражая на своем лице радость, склоняет голову. В руках директора опять список, и опять список пляшет в этих руках. Их вызывают.

— Кюхельбекер Вильгельм.

Вилли, подавшись корпусом вперед, путаясь ногами, подходит к страшному столу. Он забывает церемониал и кланяется так нелепо, что царь подносит к блеклым глазам лорнет и с секунду смотрит на него. Только с секунду. Рыжеватая голова терпеливо кивает мальчику.

Барон говорит адмиралу:

— Это Вильгельм. Я его определил в Лусée.

Потом их ведут в столовую. Старшая императрица пробует суп.

Она подходит к Вильгельму сзади, опирается на его плечи и спрашивает благосклонно:

— Карош зуп?

Вильгельм от неожиданности давится пирожком, пробует встать и к ужасу своему отвечает тонким голосом:

— Oui, monsieur¹.

Пушин, который сидит рядом с ним, глотает горячий суп и делает отчаянное лицо. Тогда Пушкин втягивает голову в плечи, и ложка застывает у него в воздухе.

Великий князь Константин, который стоит у окна с сестрой и занимается тем, что щиплет ее и щекочет, слышит все издали и начинает хохотать. Смех у него лающий и деревянный, как будто кто-то шелкает на счетах.

Императрица вдруг обижается и величественно проплывает мимо лицеистов. Тогда Константин подходит к столу и с интересом, оттянув книзу свою отвисшую губу, смотрит на Вильгельма; Вильгельм ему положительно правится.

А Вильгельм чувствует, что сейчас расплечется. Он крепится. Его лицо с выкаченными глазами багровеет, а нижняя губа дрожит.

Все кончилось, однако, благополучно. Его высочество уходит к окну — щекотать ее высочество.

19 октября 1811 года кончается.

Вильгельм — лицеист.

Бехелькюкериада

1

«— Вы знаете, что такое *Бехелькюкериада*?

Бехелькюкериада есть длинная полоса земли, страна, производящая великий торг мерзейшими стихами; у нее есть провинция «Глухое Ухо», и на днях она учинила большую баталию с соседнею державою *Осло-Доясомев*; последняя монархия, желая унижить первую, напала с великим криком на провинцию *Бехелькюкериаду*, называемую «Глухое Ухо»; но зато сия последняя держава отомстила ужаснейшим образом...»

Вильгельм не читал дальше. Он знал, что драка его с Мясоедовым даром не пройдет, что «Лицейский Мудрец» распишет ее, что опять целый день, визжа от радости, вырывая друг у друга листки, будут читать *Бехелькюкериаду*.

Лисичка-Комовский, маленький, аккуратный фискал, который

¹ Да, сударь (*франц.*).

жаловался Кюхле на товарищей, товарищам на Кюхлю и обо всем конфиденциально вечером доносил гувернеру, посмотрел на него с жадным участием.

— Илличевский сказал, — зашептал он, — что еще и не то будет, ей-богу, они собираются на тебя такое написать...

Вильгельм не дослушал. Он побежал к себе наверх и заперся.

Он сел за стол и закрыл лицо руками.

В Лицее его травили. Его глухота, вспыльчивость, странные манеры, заикание, вся его фигура, длинная и изогнутая, вызывали неудержимый смех. Но эту неделю его донимали как-то особенно безжалостно. Эпиграмма за эпиграммой, карикатура за карикатурой. «Глист», «Кюхля», «Гезель»!

Он вскочил, длинный, худой, сделал нелепый жест и вдруг успокоился.

У него оставались стихи, сочинительство. Ему не нужно людей. Он подумал об этом и вдруг почувствовал, что друг ему очень нужен. Вздыхнув, он взял свою балладу об Альманзоре и Зульме, которую вот уже две недели писал, перечеркивал, переписывал и начинал снова. Он задумался. Показать разве Пушкину? — Нет, «француз» непременно напишет эпиграмму, довольно он уже на него написал эпиграмм.

Странное дело, Кюхля не мог как следует, до конца, рассердиться на Пушкина. Что бы «француз» ни сделал, Кюхля ему все прощал. Сердился, бесновался, но любил. Когда «француз» останавливался вдруг в углу залы и глаза его загорались, а толстые губы надувались и он мрачно смотрел в одну точку, — Вильгельм робко и с нежностью его обходил: он знал, что «француз» сочиняет.

Его тянуло к нему.

Но «француз» быстро на него вскидывал коричневые бегающие глаза и вдруг, с хохотом, начинал беготню и возню; самым важным для его самолюбия было вовсе не то, что он писал хорошо стихи, а то, что он бегал быстрее всех и ловче всех перепрыгивал через стулья. Стихи Пушкина в Лицее любили за то же, за что и стихи Илличевского, — за гладкость. А Кюхле в них нравилось совсем другое. Кюхля говорил о стихах Илличевского: «Может быть, это хорошо, но это не стихи».

— А что такое стихи? — задумчиво спрашивал у него Дельвиг.

— Рассказывай, — говорил ему, подмигивая, Пушкин, — у тебя, брат, небось, лучше.

Кюхля знал, что у него хуже, но писать, как Илличевский, не хотел. Пусть хуже — все равно, и он писал свои баллады и народные песни. Стихи его звали в Лицее клопштокскими. «Клопшток» было такое же смешное слово, как «Кюхельбекер»: «Клопшток» — что-то толстое, что-то дубоватое, какой-то неуклюжий ком. Единственный человек в Лицее, который понимал Кюхлю, был, в сущности, Дель-

виг. Этот ленивый, полусонный мальчик слушал по часам Кюхлю, когда тот диким голосом читал Шиллера. Тогда за очками у Дельвига пропадала та усмешечка, которой, как огня, боялся Кюхля.

Вильгельм принялся за балладу. В дверь постучались. Это был опять Комовский. В руках у него был все тот же номер «Лицейского Мудреца». Вздыхая, но жадно смотря на Кюхлю, — для него втайне было большим удовольствием видеть, как Кюхля свирепеет, — Лисичка сказал самым жалостным голосом:

— Вильгельм, ты всего не прочел, там еще есть.

Вильгельм развернул журнал: ту самую балладу, над которой он в полной тайне ото всех сидел уже вторую неделю, переписали почти целиком, а рядом бисерным почерком была написана на каждое слово ужасная критика!

Кюхля вскочил, рассвирепев.

— Кто украл у меня со стола балладу? — сказал он, задыхаясь. — Кто посмел красть у меня со стола балладу?

О балладе знали только Комовский да Дельвиг.

Лисичка съежился, но с удовольствием посмотрел на Кюхлю.

— Кажется, Дельвиг, — сказал он, вздыхая.

— Дельвиг? — Кюхля выкатил глаза.

Это было самым гнусным предательством в мире, — пусть бы это сделал Яковлев, кто угодно, — но Дельвиг!

Кюхля, не смотря на Комовского и не слушая его, побежал по коридору.

Он влетел в комнату Дельвига. Дельвиг лежал на кровати и смотрел в потолок. Так он пролеживал целыми днями, — в Лицее сложились легенды о его лени.

— Виля?

— Мне с тобою нужно поговорить, — задыхаясь, проговорил Кюхля.

— Что с тобой, — спокойно спросил Дельвиг, — ты объелся, Вильгельм, или новую песню написал?

— Ты еще можешь так со мной говорить? — сказал Кюхля и шагнул к нему.

— А почему бы и нет? — Дельвиг зевнул. — Послушай, — сказал он, потягиваясь, — знаешь что, не ходи сегодня к директору в гости, — Пушкин сегодня зовет гулять.

Он посмотрел на Вильгельма и вдруг удивился:

— Да что с тобой, Виля, ты болен, у тебя живот болит?

Вильгельм дрожал.

— Ты бесчестный человек, ты подлый человек, — сказал он, — я тебе больше не друг. Если бы ты не был Дельвиг, я бы тебя избил. И я тебя еще избью.

— Ничего не понимаю, — сказал Дельвиг, остолбенев.

— Ты притворялся мне другом, — завопил Вильгельм, — чтобы

выкрасть мою балладу и надругаться надо мной. Это подлость интригана.

— Ты сошел с ума, — спокойно сказал Дельвиг и поднялся, наконец, с кровати. — Я одно понимаю, что ты сошел с ума. Забавно!

Когда что-нибудь его сильно задевало или ему становилось грустно, он всегда говорил: «забавно».

В дверь без стука вскочил Пушкин, волоча за собой Комовского.

Он был весел и сердит. Комовский отбояривался от него руками и ногами.

— Фискал опять подслушивает у дверей, — объявил он и дал подзатыльник Комовскому. — Если ты, Лиса, пойдешь об этом докладывать гувернеру, — обернулся он к нему, — он тебе, пожалуй, лишнюю порцию за обедом даст.

Увидев Вильгельма, стоящего со сжатыми кулаками, Пушкин подошел к нему и боком толкнул его. Вильгельм зарычал...

— Ого, — сказал Пушкин и захохотал.

Дельвиг вдруг загородил дверь.

— А ну, Лиса, иди сюда, — сказал он. — Кто это Вильгельму сказал, что я его балладу украл?

Глазки у Комовского забегали.

Пушкин насторожился.

— Понимаешь, — сказал ему Дельвиг, и голос его задрожал, — этот сумасшедший говорит, что я его балладу для «Мудреца» украл, пользуясь дружбой. Забавно!

Пушкин принял серьезный вид.

— Сейчас учиним суд, — сказал он важно, — ташу сюда типографщика. Лису арестовать.

Типографщик был Данзас, который переписывал журнал. Пушкин побежал и через минуту приволок с собой дюжего Данзаса.

Вильгельм стоял, ничего не понимая.

— Слушай, обезьяна с тигром, — сказал Комовский Пушкину заискивающе, — мне нужно выйти, я сейчас приду.

Пушкина звали в Лицее и «француз» и «обезьяна с тигром». Второе прозвище было почетнее. Лиса вилял.

— Нет. Сейчас выясним дело. Данзас, говори.

Данзас, смотря прямо на всех, сказал, что три дня тому назад Лиса передал ему балладу Кюхли.

Комовский сжался в комочек.

Кюхля стоял, сбитый с толку.

На Комовского он забыл рассердиться. Тот, сжавшись, ускользнул из комнаты.

Тогда Пушкин, взяв за талию Кюхлю и Дельвига и толкнув их друг на друга, сказал повелительно:

— Мир.

2

Ах, этот мир был недолог. Этот день был несчастным днем для Кюхли.

Перед обедом Яковлев паясничал. Яковлев был самый любимый «паяс» в Лицее. Их было несколько, живых и вертлявых мальчиков, которые шутили, гримасничали и стали под конец лицейскими шутами. Но Миша Яковлев сделал шутовство тонкой и высокой профессией. Это был «паяс 200 номеров»; он передразнивал и представлял в лицах двести человек. Это была его гордость, это было его место в Лицее.

Черненький, живой и верткий, с лукавой мордочкой, он преображался у всех на глазах, когда давал «представление», становился то выше, то ниже, то толще, то тоньше, и, раскрыв рты, лицеисты видели перед собою то Куницына, то лицейского дьячка, то Дельвига. Он так подражал роговой музыке, что раз гувернер произвел специальное расследование, откуда у лицеистов завелись рожки. Так же подражал он флейте, а раз сыграл на губах добрую половину Фильдова ноктюрна, — он был хороший музыкант. Впрочем, он натуральнейшим образом хрюкал также поросенком и изображал сладострастного петуха.

Сегодня был его бенефис. Паяс приготовил какой-то новый номер.

Все сбились в кучу, и Яковлев начал. Чтобы разойтись, он хотел, однако, исполнить несколько старых номеров. Он остановился и посмотрел на окружающих. Он ждал заказов.

— Есаков.

Есаков был тихий мальчик с румянцем во всю щеку, застенчивый, с особой походкой: он ходил вразвалочку, поматывая головой. Он очень любил Кюхлю и, после Дельвига, был первым его другом. Яковлев жался, крикнул, стал меньше ростом, как-то особенно покорно начал поматывать головой и вдруг прошелся той особой застенчивой походкой, которая была у Есакова. Есаков улыбнулся.

— Броглио.

Это был быстрый номер. Яковлев скосил правый глаз, прищурил его, откинул назад голову и стал вертеть пальцами у борта мундира: он как бы искал ордена. (Броглио привезли недавно из Италии какой-то орден, он был итальянским графом.)

— Будри.

Яковлев выпятил вперед живот, щеки его надулись и обвисли, он нахмурил лоб, глаза полузакрыв и начал тихонько завывать, потряхивая головой. Давид Иваныч де Будри, учитель французского языка, любитель декламации, стоял перед лицеистами.

— Попа, попа.

— Дьячка с трелями.

Яковлев вытянул шею, глаза его стали унылыми и при этом быстро и воровато забегали по сторонам, щеки втянулись, и дьячок, очень похожий на лицейского, начал выводить «трели»:

— Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

— Обезьяну.

Для Яковлева этот номер был легче всего. Он и сам был похож на обезьяну. Он присел на пол, раскорячив ноги, и начал быстро, не почеловечьи, почесывать подмышками. Глазки Яковлева забегали по всем сторонам с тем бессмысленным и спокойным выражением, которое он уловил у обезьяны странствующего итальянца, как-то заглянувшего в Лицей.

— Теперь новый.

— Новый, — сказал Яковлев, — это Минхен и Кюхля.

Вильгельм растерялся. Это была тайна, которую он доверил только Дельвигу: обручение с Минхен.

Он смотрел на Яковлева.

Яковлев стал выше ростом. Шея его вытянулась, рот приоткрылся, глаза выпучились. Вихляя и вертя головою, прошел два шага и, брыкнув ногой, остановился. Верная и злая копия Кюхли.

Лицеисты покатались со смеху. Пушкин хохотал отрывисто, лающим смехом. Дельвиг, забыв все на свете, стонал тоненьким голосом.

Яковлев присел теперь таким образом, как будто под ним была скамеечка. Он сделал губки бантиком, поднял глазки к небу, головку опустил набок и начал перебирать пальцами воображаемую косу, свесившуюся на грудь. Потом «Кюхля» тянет шею, как жираф, вытягивает губы и, свирепо вращая глазами, чмокает воздух, после чего, неожиданно брыкнув, отлетает в сторону, точно обжегшись. «Минхен» вытягивает губки самым жалостным образом, тоже чмокает воздух и, дернув головкой, закрывает личико руками.

Рев стоял в дортуаре.

Вильгельм, побагровев, двинулся было к Яковлеву, но этого уже ждали. Его быстро подхватили за руки, впихнули в его келью, приперли дверь.

Он завизжал и бросился на нее всем телом, он колотил в нее кулаками, кричал: «подлецы», и, наконец, опустил на пол.

За дверью два голоса пели:

Ах, тошно мне
На чужой скамье!
Все не мило, все постыло,
Кюхельбекера там нет!
Кюхельбекера там нет —
Не глядел бы я на свет.
Все скамейки, все линейки
О потере мне твердят.

И тотчас дружный хор отвечал:

Ах, не скучно мне
На чужой скамье!
И все мило, не постыло,
Кюхельбекера здесь нет!

Кюхельбекера здесь нет —
Я гляжу на белый свет.
Все скамейки, все линейки
Мне о радости твердят.

Вильгельм не плакал. Он знал теперь, что ему делать.

3

Звонок к обеду.

Все бегут во второй этаж — в столовую.

Вильгельм ждет.

Он выглядывает из дверей и прислушивается. Снизу доносится смутный гул, — все усаживаются.

Его отсутствия пока никто не заметил. У него есть две-три минуты времени.

Он сбегает вниз по лестнице, минует столовую и мчится через секунду по саду.

Из окна столовой его заметил гувернер. Перед Вильгельмом мелькает на секунду его изумленное лицо. Времени терять нельзя.

Он бежит что есть сил. Мелькает «Грибок» — беседка, в которой он только вчера писал стихи.

Вот, наконец, — и Вильгельм с размаху бросается в пруд.

Лицо его облепляют слизь и тина, а холодная стоячая вода доходит до шеи. Пруд неглубок и еще обмелел за лето. В саду — крики, топот, возня. Вильгельм погружается в воду.

Солнце и зелень смыкаются над его головой. Он видит какие-то радужные круги — вдруг взмах весла у самой его головы, и голоса, крики. Последнее, что он видит, — смыкающиеся круги радуги, последнее, что слышит, — отчаянный чей-то крик, кажется, гувернера:

— Здесь, здесь! Давайте багор.

Вильгельм открывает глаза. Он лежит у пруда на траве. Ему становится холодно.

Над ним наклонилось старое лицо в очках, — Вильгельм узнает его, это доктор Пешель. Доктор подносит к его лицу какой-то сильно пахнущий спирт. Вильгельм дрожит и делает усилие что-либо сказать.

— Молчите, — говорит доктор строго.

Но Вильгельм уже сел. Он видит испуганные лица товарищей, — рядом стоят Куницын и француз Будри. Куницын о чем-то вполголоса говорит Будри, тот неодобрительно кивает головою. Энгельгардт, директор, растерянно сложил руки на животе и смотрит на Кюхлю бессмысленным взглядом.

Кюхлю ведут в Лицей и укладывают в больницу.

Ночью в палату к нему прокрадываются Пушкин, Пушин, Есаков.

Есаков, застенчивый, румяный, улыбается, как всегда. Пушкин сумрачен и тревожен.

— Вильгельм, что ты начудил? — спрашивает его шепотом Есаков. — Нельзя так, братец.

Вильгельм молчит.

— Ты пойми, — говорит рассудительно Пушкин, — если из-за каждой шутки Яковлева топиться, так в пруду не хватит места. Ты ж не «Бедная Лиза».

Вильгельм молчит.

Пушкин неожиданно берет Вильгельма за руку и неуверенно ее пожимает.

Тогда Вильгельм срывается с постели, обнимает его и бормочет:

— Я не мог больше, Пушкин, я не мог больше.

— Ну, вот и отлично, — говорит спокойно и уверенно Есаков, — и не надо больше. Они ведь тебя, братец, в сущности любят. А что смеются — так пускай смеются.

4

А впрочем, жизнь в Лицее шла обычным порядком.

Обиды забывались. Старше становились лицеисты. После истории с прудом один Илличевский издевался над Кюхлей по-прежнему. У Кюхли даже нашлись почитатели: Модя Корф, аккуратный, миловидный немец, утверждал, что хоть стихи у Кюхли странные, но не без достоинств и, пожалуй, не хуже Дельвиговых.

Учился Кюхля хорошо, у него появилась новая черта — честолюбие. Засыпая, он воображал себя великим человеком. Он говорил речи какой-то толпе, которая выла от восторга, а иногда он становился великим поэтом, — Державин целовал его голову и говорил, обращаясь не то к той же толпе, не то к лицеистам, что ему, Вильгельму Кюхельбекеру, передает он свою лиру.

У Кюхли была упорная голова; если он в чем-нибудь был уверен, никто не мог заставить его сойти с позиции. Математик Карпов записал о нем в табель об успехах, что он «основателен, но ошибается по самодовольствию». Хорошо его понимали трое: учитель французского языка Давид Иванович де Будри, профессор нравственных наук Куницын и директор Энгельгардт.

Куницын видел, как бледнел Кюхля на его уроках, когда он рассказывал о братьях Гракхах и о борьбе Фразибула за свободу. У этого мальчика, несмотря на его необузданность, была ясная голова, а его упорство даже нравилось Куницыну. Директор Энгельгардт, Егор Антонович, был аккуратный человек; когда он говорил о «нашем милом Лицее», глаза его принимали едва ли не набожное выражение. Он все мог понять и объяснить, и когда встречал какое-нибудь неорганизованное явление, долго над ним бился, чтобы «определить» его; но если ему, наконец, удавалось это явление определить и человек получал свой ярлык, — Энгельгардт успокаивался.

Все было в порядке, да и в каком еще порядке: весь мир был хорошо устроен. Сплошное добродушие было в основе всего мира.

Пушкин Энгельгардта ненавидел, сам не зная почему. Он разговаривал с ним, опустив глаза. Он грубо хохотал, когда у Энгельгардта случались неприятности. И Энгельгардт терялся перед этим неорганизованным явлением. Он в глубине души тоже ненавидел и — что было хуже всего — боялся Пушкина. Сердце этого молодого человека было пусто, ни одной искры истинного добродушия не было в нем, одна беспорядочная ветреность да какие-то звуки в голове, и при этом нерадивость, легкомыслие и — увы — безнравственность! За этого воспитанника Егор Антонович не отвечал ни в коем случае: он никак не мог подыскать для него ярлыка.

Но Кюхель, неорганизованный Кюхель (Егор Антонович звал Вильгельма «Кюхель», а не «Кюхля»: это было по-лицейски и все же немножко не так, как у лицеистов, у мальчиков), Кюхель, также подверженный крайностям и легкомыслию, — Егор Антонович понимал его. Да, да, Егор Антонович понимал этого безумного молодого человека из хорошей немецкой фамилии. Это был Дон-Кихот, крайне необузданный, но настоящая добродушная голова. Егор Антонович знал твердо, что Кюхель — неорганизованная голова, которую в жизни ожидают большие неприятности, — но притом и добродушная голова. И этого было для него достаточно: добродушия, лежавшего в основе всего мира, Кюхель не портил.

Пушкина Энгельгардт боялся, потому что не мог понять, но Кюхельбекера он любил, потому что понимал его, — хотя оба они были неорганизованные существа.

Давид Иванович Будри был коротенький, толстенький старичок в насаленном, слегка напудренном парике, с черными острыми глазами, строгий и даже придиричивый. Он бодро и быстро бросал слова, шутил язвительно, — и весь класс хохотал от его шуток. Но самым его большим наслаждением была декламация. Когда, полузакрыв глаза, он декламировал Сида, протяжно завывая, — лицеисты замирали на своих местах, что не мешало им после хохотать, когда Яковлев его передразнивал.

Кюхля относился к нему с особым чувством; он не любил его, но смотрел на Будри с непонятым удивлением, почти ужасом: Куницын сказал ему под большим секретом, что Давид Иванович родной брат Марата, того самого: его только заставили переменить фамилию. Маленький старичок ничем не напоминал того страшного, но чем-то для Кюхли обольстительного Марата, портрет которого он видел в какой-то книжке.

Однажды он решился и подошел тихонько к Давиду Ивановичу.

— Давид Иванович, — сказал он тихо, — расскажите мне, прошу вас, о вашем брате.

Де Будри живо обернулся и посмотрел на Кюхлю пронзительно.

— Мой брат, — спокойно сказал он, — был великий человек, он был помимо всего замечательный врач. — Де Будри задумался и улыбнулся. — Раз, желая предостеречь меня от развлечения юности, — вы понимаете? — он повел меня в госпиталь и показал там язвы человечества. — Он пошевелил губами и нахмурился. — О нем много неверного пишут, — сказал он быстро и не смотря на Вильгельма. И вдруг, окинув его взглядом, добавил совершенно неожиданно: — А вы тщеславны, мой друг. Вы честолюбивы. Это вам не предвещает ничего хорошего.

Вильгельм посмотрел на него удивленно.

Де Будри был прав. Вильгельм недаром перед сном воображал какую-то воющую толпу.

5

Скоро для тщеславия Вильгельма случай представился. Это было в декабре четырнадцатого года. Приближался переводной экзамен. Переводные экзамены в Лицее были всегда большим событием. Наезжали из города важные персоны, и начальство перед экзаменами испытывало лихорадку честолюбия, стараясь блеснуть как можно более.

На этот раз по Лицею разнеслась весть, что приедет Державин. Весть подтвердилась.

Галич, учитель словесности, добрейший пьяница, приняв самый торжественный вид, сказал однажды на уроке:

— Господа, предупреждаю: на переводных экзаменах будет у нас присутствовать знаменитый наш лирик, Гаврила Романович Державин.

Он крикнул и особенно выразительно посмотрел при этом в сторону Пушкина:

— А вам, Пушкин, советую особенно принять это в соображение и встретить Державина пиитическим подарком.

Пушкин болтал в это время с Яковлевым. Услышав слова Галича, он неожиданно побледнел и закусил губу.

Кюхля, напротив, раскраснелся необычайно.

После классов Пушкин стал сумрачен и неразговорчив. Когда его спрашивали о чем-нибудь, отвечал неохотно и почти грубо. Кюхля взял его таинственно под руку.

— Пушкин, — сказал он, — как ты думаешь — я тоже хочу поднести Державину стихи.

Пушкин вспыхнул и выдернул руку. Глаза его вдруг налились кровью. Он не ответил Вильгельму, который, ничего не понимая, стоял разинув рот, — и ушел в свою комнату.

Назавтра все знали, что Пушкин пишет стихи для Державина.

Лицей волновался.

О Вильгельме забыли.

День экзаменов настал.

Пушкин с утра был молчалив и груб. Он двигался лениво и полу-

сонно, не замечая ничего вокруг, даже наталкивался на предметы. Вяло пошел он в залу вместе со всеми.

В креслах сидели мундиры, черные фраки; жабо Василия Львовича Пушкина заметно выделялось своей белизной и пышностью, — «шалбер» аккуратно ездил на экзамены и интересовался Сашей больше, чем брат Сергей Львович.

Дельвиг стоял на лестнице и ждал Державина. Надо было давно уже идти наверх, а он все стоял и ждал его. Певец «Смерти Мещерского» — увидеть его, поцеловать его руку!

Дверь распахнулась; в сени вошел небольшой сгорбленный старик, зябко кутаясь в меховую широкую шинель.

Он повел глазами по сторонам. Глаза были белесые, мутные, как бы ничего не видящие. Он озяб, лицо было синеватое с мороза. Черты лица были грубые, губы дрожали. Он был стар.

К Державину подскочил швейцар. Замирая, Дельвиг ждал, когда он начнет подниматься по лестнице. Эта встреча уже почему-то не радовала его, а скорее пугала.

Все же он поцелует руку, написавшую «Смерть Мещерского».

Державин сбросил на руки швейцара шинель. На нем был мундир и высокие теплые плисовые сапоги. Потом он повернулся к швейцару и, глядя на него теми же пустыми глазами, спросил дребезжащим голосом:

— А где, братец, здесь нужник?

Дельвиг оторопел. По лестнице уже звучали шаги — директор бежал встречать Державина. Дельвиг тихо поднялся по лестнице и пошел в залу.

Державина усадили за стол. Экзамен начался. Спрашивал Куницын по нравственным наукам. Державин не слушал. Голова его дрожала, он уставился мутным взглядом на кресла. Жабо Василия Львовича привлекло его внимание. Василий Львович завертелся в креслах и отвесил ему глубокий поклон. Державин не заметил.

Так сидел он, дремля и покачиваясь, подперши голову рукой, отрешенный от всего, рассеянно смотря на белое жабо. Губы его отвисли.

Кюхля с непонятным содроганием смотрел на Державина. Это страшное, с сизым носом, старческое лицо напоминало ему как-то пруд, заросший тиной, в котором он хотел утопиться.

Начался экзамен по словесности.

Галич сказал, запинаясь:

— Яковлев, произнесите оду на смерть князя Мещерского, творение Гавриила Романовича Державина.

Державин снял руку со стола. Губы его сомкнулись. Он взглядывался белесыми глазами в лицеиста.

Яковлев был хороший чтец. Уроки де Будри не пропали для него даром. Он читал, немного завывая, не оттеняя смысла, но налегая на звучные рифмы.

Глагол времен, металла звон,
Твой страшный глас меня смущает.

Державин закрыл глаза и слушал.

Сей день иль завтра умереть,
Перфильев, должно нам, конечно.

Державин поднял голову и слегка кивнул не то с одобрением, не то отвечая на что-то себе самому.

— Кюхельбекер.

Вильгельм подошел к столу ни жив ни мертв.

— Отвечайте о сущности поэзии одической.

Вильгельм начал отвечать по учебнику Кошанского, Державин рукой остановил его.

— Скажите, — сказал он разбитым голосом, — что для оды более нужно, восторг пиитический или ровность слога?

— Восторг, — сказал Вильгельм восторженно, — восторг пиитический, который извиняет и слабости и падение слога и душу стремит к высокому.

Державин с удовольствием взглянул на него.

— Простите, — сказал не своим голосом Вильгельм, — дозвольте прочесть стихотворение, Гавриле Романовичу посвященное.

Галич смутился. Кюхельбекер ему ничего не сказал о своих стихах. Нет, это будет опасно. Вероятно, наворотил чего-нибудь.

— Первую строфу, если Гаврила Романович разрешит.

Державин сделал жест рукой. Жест был неожиданно изящный, широкий.

Вильгельм прочел дрожащим голосом:

Из туч сверкнул зубчатый пламень,
По своду неба гром протек,
Взревели бури — челн о камень.
Яряся, океан изверг
Кипящими волнами
Пловца на дикий брег, —
Он озирается — и робкими очами
Блуждает ночи в глубине;
Зовет спутников, — но в страшной тишине
Лишь львов и ветра вопль несется в отдаленье.

Он кончил и растерянно взглянул перед собой.

— Громко. Есть движение, — сказал Державин. — Огня бы больше. Державина, видно, читали, — добавил он, бледно улыбаясь.

Галич тоже улыбнулся, видя, что все сошло благополучно, Кюхля вернулся на место, опустив голову.

— Пушкин.

Пушкин вышел вперед бледный и решительный.

Галич знал о «державинских» стихах Пушкина. Весь Лицей знал их наизусть.

Пушкин начал читать.

С первой же строки Державин пришел в волнение. Он впился глазами в мальчика. В белых глазах под насупленными бровями забегали темные огоньки. Крупные ноздри его раздулись. Губы приметно двигались, повторяя за Пушкиным рифмы.

В зале была тишина.

Пушкин сам слышал звонкий, напряженный свой голос и сам ему повиновался. Он не понимал слов, которые читал он, — звуки его голоса тянули его за собою.

Державин и Петров героям песнь бряцали
Струнами громозвучных лир.

Голос звенит, — вот-вот сорвется.

Державин откинулся в кресла, закрыл глаза и так слушал до конца.

Была тишина.

Пушкин повернулся и убежал.

Державин вскочил и выбежал из-за стола. В глазах его были слезы. Он искал Пушкина.

Пушкин бежал по лестницам вверх. Он добежал до своей комнаты и бросился на подушки, плача и смеясь. Через несколько минут к нему вбежал Вильгельм. Он был бледен как полотно. Он бросился к Пушкину, обнял его, прижал к груди и пробормотал:

— Александр! Александр! Горжусь тобой. Будь счастлив. Тебе Державин лиру передает.

6

А над Илличевским Кюхля одержал победу.

Алеша Илличевский — по-лицейски Олосинька — был умный мальчик; он хорошо учился, дружил со всеми и ни с кем, был себе на уме.

В Лицее он считался великим поэтом.

И правда — «стихом он владел хорошо», — так по крайней мере говорил о нем учитель риторики Кошанский. Стихи у него были гладкие, без сучка, без задоринки, почерк мелкий, косой, с нарядными росчерками. Писал он басни: этот род ему нравился как самый благоразумный; басни Илличевского были нравоучительны. Он и псевдоним себе придумал не без ехидности: «— ийший». Над Кюхлей он смеялся, Дельвигу покровительствовал, а Пушкина готов был считать равным, но втайне остро ему завидовал. Он был осторожен, расчетлив и в товарищеские заговоры никогда не вступал. Олосинька был первый ученик. После того как Кюхля тонул в пруду, Олосинька нарисовал в «Лицейском Мудреце» очень хорошую картинку-карикатуру; на картинке было изображено, как Кюхлю с закинутым назад

бледным лицом (нос на рисунке был у Кюхли огромный) тащат багром из воды. Кюхля карикатуру видел, но — странное дело — не рассердился: он слишком его не любил, чтоб на него сердиться.

Илличевский знал это и, в свою очередь, не переносил Кюхлю. Он сочинил на него довольно злую эпиграмму и назвал ее, не без изящества, «Опровержением»:

Нет, полно, мудрецы, обманывать вам свет
И утверждать свое, что совершенства нет.
На свете, в твари тленной,
Явися, Вилинька, и докажи собой,
Что ты и телом и душой
Урод пресовершенный.

Но пресовершенный урод с его уродливыми стихами больше привлекал Пушкина и Дельвига, чем совершенный Олосинька. И однажды урод одержал над ним победу. Он напал на Илличевского с пеной у рта.

— Я могу нанять учителя чистописания, — кричал он, наступая на Илличевского, — и он меня в три урока выучит писать, как ты.

— Сомневаюсь, — криво улыбнулся Олосинька.

— Ты никогда не ошибаешься, ты безупречен, ты без ошибок пишешь, дело, ей-богу, неважное. После Батюшкова разве трудно писать чисто?

— Ты вот доказываешь, что трудно, — язвил Олосинька и поглядывал вокруг искательню, приглашая посмеяться.

Никто, однако, не смеялся.

— Лучше в тысячу раз писать с ошибками, чем разводить, как ты, холодную водицу, — кричал Кюхля. — Я не стыжусь своих ошибок. К черту правильность мертвеца! — Пушкин, — обернулся он с неожиданным вызовом к Пушкину, — если ты пойдешь, как Илличевский, я от тебя отрекаюсь!

Все повернулись к Пушкину.

Пушкин стоял и покусывал губы.

Он был нахмурен и серьезен.

— Успокойся, Вилинька, — сказал он, — что ты развоевался? Каждый идет своим путем.

Он схватил Кюхлю за рукав и потащил его за собою.

— Он, кажется, обиделся? — спросил Кюхля Пушкина и тяжело вздохнул. — Пускай обижается.

А между тем дух лицейский менялся. Старше ли они становились, или кругом что-то менялось — но появилась в Лицее «вольность».

По вечерам шли разговоры о том, кто теперь правит Россией — царь, Аракчеев или любовница Аракчеева, крепостная его наложни-

ца, Настасья Минкина. И эпиграммы лицеисты писали уже не только на Кюхлю и на повара.

От войны 12-го года у лицеистов сохранилось воспоминание о том, как проходили через Царское Село бородатые солдаты, угрюмо глядя на них и устало отвечая на их приветствия. Теперь время было другое. Царь то молился и гадал у Криднерши, имя которой шепотом передавали друг другу дамы, то муштровал солдат с Аракчеевым, о котором со страхом говорили мужчины. Имя темного монаха Фотия катилось по гостиним. Ходили неясные толки о том, кто кого свалит — Фотий ли министра Голицына, Голицын ли Фотия, или Аракчеев съест их обоих. Что было бы лучше, что хуже, не знал никто. Начиналась глухая борьба и возня за места, деньги и влияния; все передавали фразу Аракчеева, сказанную среди белого дня при публике генералу Ермолову, которого он боялся и ненавидел:

— С вами, Алексей Петрович, мы не *перегрыземся*.

И это шло волнами, кругами по всей стране, — и эти волны доходили и до Лицея.

Лицей был балованным заведением, — так устроилось, что в нем не секи и не было муштры.

— Les Lycenciés sont licenciéux¹, — говорил великий князь Мишель чужую остроту, почему-то величая лицеистов лиценциатами.

Но и Лицей скоро почувствовал на себе то, что чувствовали все.

Однажды царь вызвал Энгельгардта и спросил у него — благоклонно, впрочем:

— Есть ли у вас желающие идти в военную службу?

Энгельгардт подумал. Желающих было так мало, что, собственно говоря, их и совсем не было. Но ответить царю, который с утра до ночи занимался теперь муштрой в полках и таинственными соображениями об изменениях военной формы, — ответить ему просто было не так-то легко.

Энгельгардт наморщил лоб и сказал:

— Да чуть ли не более десяти человек, ваше величество, этого желают.

Царь важно кивнул головой:

— Очень хорошо. Надо в таком случае их познакомить с фрунтом.

Энгельгардт обомлел. «Фрунт, казарма, Аракчеев, — Лицей пропал, — пронеслось у него в голове. — Конец нашему милому, нашему доброму Лицею». Он молча поклонился и вышел.

На совете Лицея, о котором знали все лицеисты, на цыпочках ходившие в эти дни, шло долго обсуждение.

Де Будри шурился.

— Значит, переход на военное положение?

Куницын, бледный и решительный, сказал:

¹ Игра слов: лиценциаты — беспутники (*франц.*).

— В случае муштры и фрунта — слуга покорный, подаю в отставку.

Энгельгардт, наконец, решил отшутиться. Это иногда удавалось. Шутка пользовалась уважением при дворе еще при Павле, который за остроумное слово награждал чинами. Великий князь Мишель из кожи лез вон, чтобы прослыть острословом.

Энгельгардт пошел к царю и сказал ему:

— Ваше величество, разрешите мне оставить Лицей, если в нем будет ружье.

Царь нахмурился.

— Это отчего? — спросил он.

— Потому что, ваше величество, я никогда никакого оружия, кроме того, которое у меня в кармане, не носил и не ношу.

— Какое это оружие? — спросил царь.

Энгельгардт вынул из кармана садовый нож и показал царю.

Шутка была плохая и не подействовала. Царь уже свыкся с мыслью, что из своего окна он будет видеть лицейскую муштру. Это было для него легким отдыхом, летним развлечением. Его тянуло к этой игрушечной муштре, как когда-то его деда Петра III тянуло к игрушечным солдатикам. Они долго торговались, и с кислой улыбкой царь, наконец, согласился, чтобы для желающих был класс военных наук. На том и поладили.

В другой раз, летом, царь вызвал Энгельгардта и холодно сказал ему, чтобы лицеисты дежурили при царице, — Елизавета Алексеевна жила тогда в Царском Селе.

Энгельгардт помолчал.

— Это дежурство, — сказал, не глядя на него, Александр, — приучит молодых людей быть развязнее в обращении.

Чувствуя, что сказал какую-то неловкость, он добавил торопливо и сердито:

— И послужит им на пользу.

В Лицее сообщение о дежурстве вызвало переполох. Все лицеисты разбились на два лагеря. Саша Горчаков — князь, близорукий, румяный мальчик с прыгающей походкой и той особенной небрежностью манер и рассеянностью, которые он считал необходимыми для всякого аристократа, — был за дежурства.

Надо было начинать карьеру, и как было не воспользоваться близостью дворца.

— Это удачная мысль, — сказал он снисходительно, одобряя не то царя, не то Энгельгардта.

Корф, миловидный немчик, который тянулся за Горчаковым, и Лисичка-Комовский решительно заявили, что новая должность им нравится.

— Я лакейской должности не исполнял и не буду, — спокойно сказал Пущин, но щеки его разгорелись.

— Дело идет не о лакеях, но о камер-пажах, — возразил Корф.

— Но камер-паж и есть ведь царский лакей, — ответил Пущин.

СМЕРТЬ ВАЗИР-МУХТАРА

Взгляни на лик холодный сей,
Взгляни: в нем жизни нет;
Но как на нем былых страстей
Еще заметен след!
Так яркий ток, оледенев,
Над бездною висит,
Утратив прежний грозный рев,
Храня движенья вид.

Евгений Баратынский

На очень холодной площади в декабре месяце тысяча восемьсот двадцать пятого года перестали существовать люди двадцатых годов с их прыгающей походкой. Время вдруг переломилось; раздался хруст костей у Михайловского манежа — восставшие бежали по телам товарищей — это пытали время, был «большой застенок» (так говорили в эпоху Петра).

Лица удивительной немоты появились сразу, тут же на площади, лица, тянущиеся лосинами щек, готовые лопнуть жилами. Жилы были жандармскими кантами северной небесной голубизны, и остзейская немота Бенкендорфа стала небом Петербурга.

Тогда начали мерить числом и мерой, судить порхающих отцов; отцы были осуждены на казнь и бесславную жизнь.

Случайный путешественник-француз, пораженный устройством русского механизма, писал о нем; «империя каталогов», и добавлял: «блестящих».

Отцы пригнулись, дети зашевелились, отцы стали бояться детей, уважать их, стали заискивать. У них были по ночам угрызения, тяжелые всхлипы. Они называли это «совестью» и «воспоминанием».

И были пустоты.

За пустотами мало кто разглядел, что кровь отлила от порхающих, как шпага ломких, отцов, что кровь века переместилась.

Дети были моложе отцов всего на два, на три года. Руками рабов и завоеванных пленных, суетясь, дорожась (но не прыгая), они завинтили пустой Бенкендорфов механизм и пустили винт фабрикой и заводом. В тридцатых годах запахло Америкой, ост-индским дымом.

Дуло два ветра: на восток и на запад, и оба несли с собою: соль и смерть отцам и деньги — детям.

Чем была политика для отцов?

«Что такое тайное общество? Мы ходили в Париже к девчонкам, здесь пойдем на *Медведя*», — так говорил декабрист Лунин.

Он не был легкомыслен, он дразнил потом Николая из Сибири письмами и проектами, написанными издевательски ясным почерком; тростью он дразнил медведя — он был легок.

Бунт и женщины были сладострастием стихов и даже слов обыденного разговора. Отсюда же шла и смерть, от бунта и женщин.

Людей, умиравших раньше своего века, смерть застигала внезапно, как любовь, как дождь.

«Он схватил за руку испуганного доктора и просил настоятельно помощи, громко требуя и крича на него: «Да понимаешь ли, мой друг, что я жить хочу, жить хочу!»

Так умирал Ермолов, законсервированный Николаем в банку полководец двадцатых годов.

И врач, сдавленный его рукой, упал в обморок.

Они узнавали друг друга потом в толпе тридцатых годов, люди двадцатых, — у них был такой «масонский знак», взгляд такой и в особенности усмешка, которой другие не понимали. Усмешка была почти детская.

Кругом они слышали другие слова, они всеми силами бились над таким словом, как «камер-юнкер» или «аренда», и тоже их не понимали. Они жизнью расплачивались иногда за незнакомство со словарем своих детей и младших братьев. Легко умирать за «девчонок» или за «тайное общество», за «камер-юнкера» лечь тяжелее.

Людям двадцатых годов досталась тяжелая смерть, потому что век умер раньше их.

У них было в тридцатых годах верное чутье, когда человеку умереть. Они, как псы, выбирали для смерти угол поудобнее. И уже не требовали перед смертью ни любви, ни дружбы.

Что дружба? Что любовь?

Дружбу они обрели где-то в предыдущем десятилетии, и от нее осталась только привычка писать письма да ходатайствовать за виноватых друзей — кстати, тогда виноватых было много. Они писали друг другу длинные сентиментальные письма и обманывали друг друга, как раньше обманывали женщин.

Над женщинами в двадцатых годах шутили и вовсе не делали тайн из любви. Иногда только дрались или умирали с таким видом, как будто говорили: «Завтра побывать у Истоминой». Был такой термин у эпохи: «сердца раны». Кстати, он вовсе не препятствовал бракам по расчету.

В тридцатых годах поэты стали писать глупым красавицам. У женщин появились пышные подвязки. Разврат с девчонками двадцатых годов оказался добросовестным и ребяческим, тайные общества показались «сотней прапорщиков».

Благо было тем, кто псами лег в двадцатые годы, молодыми и гордыми псами, со звонкими рыжими баками!

Как страшна была жизнь *превращаемых*, жизнь тех из двадцатых годов, у которых перемещалась кровь!

Они чувствовали на себе опыты, направляемые чужой рукой, пальцы которой не дрогнут.

Время бродило.

Всегда в крови бродит время, у каждого периода есть свой вид брожения.

Было в двадцатых годах винное брожение — Пушкин.

Грибоедов был уксусным брожением.

А там — с Лермонтова идет по слову и крови гнилостное брожение, как звон гитары.

Запах самых тонких духов закрепляется на разложении, на отбросе (амбра — отброс морского животного), и самый тонкий запах ближе всего к вони.

Вот — уже в наши дни поэты забыли даже о духах и продают самые отбросы за благоухание.

В этот день я отодвинул рукой запах духов и отбросов. Старый азиатский уксус лежит в моих венах, и кровь пробирается медленно, как бы сквозь пустоты разоренных империй.

Человек небольшого роста, желтый и чопорный, занимает мое воображение.

Он лежит неподвижно, глаза его блестят со сна.

Он протянул руку за очками, к столику.

Он не думает, не говорит.

Еще ничего не решено.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Шаруль бело из кана ла садык¹.

Грибоедов. Письмо к Булгарину

1

Еще, ничего не было решено.

Он вытянулся на руках, подался корпусом вперед; от этого нос и губы у него вытянулись гусем.

Странное дело! На юношеской постели, как бы помимо его воли, вернулись разные привычки. Именно по утрам он так потягивался, прислушивался к отчету дому: встала ли маменька? язвит ли уже папеньку? По ошибке влетела догадка: не войдет ли сейчас дядя, опираясь на палку, будить его, ворошить на постели, звать с собою по гостям.

Чего он хлопотал с этой своей палкой?

И он воровато прикрыл ресницы, слегка шмыгнул носом под одеяло.

¹ Величайшее несчастье, когда нет истинного друга. Стих арабского поэта иль-Мутанаббия (915—965). Источник указан академиком И. Ю. Крачковским.

Конечно, тотчас же опомнился.

Протянул желтую руку к столику, пристроил на нос очки.

Он спал прекрасно: ему хорошо спалось только на новом месте. Отчий дом оказался сегодня новым местом, он превосходно провел ночь, как на покойном постоялом дворе, зато поутру как бы угорел от тайного запаха, которым недаром полны отчие дома.

Алексей Федорович Грибоедов, дядя с палкой, умер пять лет назад. Его и зарыли здесь, на Москве.

Войти он, стало быть, не мог.

Скончался в свое время и папенька.

Но все же раздавались отчие звуки.

Часы перекликались из комнаты в комнату, как петухи, через деревянные стены. У татан в будуаре маятник всегда ходил как бешеный.

Затем шваркающий звук, и кто-то плевал.

Значение звука он долго не мог определить.

Потом затаенный смех (несомненно, женский), шварканье приостановлено и наконец с новой силой вновь началось. Кто-то вполголоса зашикал из дверей, трюхнул жидкий, дрянненький колокольчик — это, безо всякого сомнения, из маменькина будуара. И стало понятно значение шварканья и плеванья, а также смеха: Александр чистил его сапоги, плевал и толкал под бок маменькину девку.

Александр вообще проявлял в доме за этот последний приезд необыкновенную наглость: он налетел, как персидский разбойник, на господский дом, взял его приступом, он говорил: «мы», брови у него разлетались, ноздри раздувались, белесые глаза стали глупыми. Он был даже величествен.

Так, он вздумал, что «Александр Сергеевич не могут, чтобы ему чистить платье в людской», ночевал наверху — и вот теперь тискал девушку.

Все же Александр Сергеевич улыбнулся, потому что любил Александра. Александр напоминал лягушку.

Маменька опять трюхнула колокольцем, оберегала его покой от Сашки, а сама ведь тем будила его, несносно.

Тогда как бы из озорства, из желанья передразнить ненавистный маменькин звук, он протянул руку и тоже трюхнул в колокольчик. Звук получился столь же мерзкий, как и у маменьки, но более громкий. И трюхнул еще раз.

Вошел крадучись, извиваясь змеем, шаркая туфлями, Александр. Походка его напоминала походку дервиша в «Страстях Алиевых». На вытянутых руках он нес платье, как жертву божеству, кок его уже был смазан квасом и завит. Удивительно глупая улыбка явилась перед Грибоедовым. Он с удовольствием смотрел, как складывал Александр тонкое черное платье на табурет и обрядовым жестом сложил ровень обе штрипки от брюк.

Так они и молчали обыкновенно, любуясь друг другом.

— Подай кофе.

— Каву-с? Мигом, — щеголяя персидским словом, Сашка составил в ряд длинные острые носы штиблет. («Тоже, кафечи. Нашел, дурак, перед кем хвастать».)

— Карету от извозчика заказал?

— Ждет-с.

Александр, кланяясь носом на каждом шагу, пошел вон.

Как затравленный унылый зверь, Грибоедов смотрел на свое черное платье.

У самого борта сюртука он заметил пылинку, снял ее и покраснел. Он не хотел думать о том, что вскоре здесь засияет алмазная звезда, и между тем даже со всею живостью представлял ее как раз на том месте, где стер пыль.

Кофе.

Быстро он оделся, с отчаянностью решился, прошел к маменькину будуару и стукнул как деревянным пальцем в деревянную дверь.

— Entrez?¹

Изумление было фальшиво, повышение было взято в вопросе на терцию выше, чем следовало бы, голос тапан был сладостным dolce² в его нынешний приезд, медовым dolce.

Склонив покорные длинные ресницы, он прошел сразу же через много запахов: пахли патки с одеколоною, серные частицы, можжевеловые порошки.

Маменька сидела со взбитыми на висках жидкими патками, не седыми, а бесцветными.

Она в лорнет, прищурясь, смотрела на Александра. Взгляд был слегка плотояден. Чин статского советника был обещан Александру.

— Как вы спали, мой сын? Ваш Сашка второе утро всех будит.

Второе утро он хотел удрать из дому.

На этот раз он решился, и, по-видимому, предстояло объяснить. Удирал он в Петербург, собственно даже не удирал — он вез Туркменчайский мир в Петербург и мог только проездом остановиться дня на два в Москве, но маменька надулась вчера, когда Александр сказал, что утром едет, — он мог бы еще задержаться на день в Москве. Он и задержался. Она смотрела на сына в этот раз по-особому.

Настасья Федоровна прожилась.

Была ли она мотовкой? Она была жадна. Все же деньги плыли сквозь пальцы, сыпались песком — и опять начинали трещать углы, обсыпаться дом; в самом воздухе стояло разорение; все вещи были налицо, но дом пустел.

Настасья Федоровна была умна, хозяйка, мать — куда девались

¹ Войдите (*франц.*).

² Нежно (*итал.*, муз. термин).

деньги? Самый воздух грибоедовского дома как бы ел их. Уже мужики были высосаны до последней крайности. Пять лет назад они подняли бунт, восстание, и их усмиряли оружием. Все же, несмотря на победу, губернатор заезжал, пил чай и предупреждал, что желательно не иметь более восстаний.

Александр прекрасно понимал значение голоса и лорнета. Медовое legato было приглашением поговорить. Александр заговорил. С некоторым презрением он слышал в своей речи излишек выразительности, он как бы заражался ее речью.

Все это, разумеется, должно было кончиться скандалом и сорваться; и мать и сын, зная это, оттягивали.

Мать не знала, чего хочет сын. Он мог остаться на Москве, мог служить в Петербурге, а то и получить назначение в ту же Персию. Перед ним, разумеется, нынче все открыто: таким дипломатом он показал себя. Мать списалась уже с Паскевичем, женатым на племяннице, у которого служил Александр; Паскевич, чувствительный к тому, чтоб его окружали обязанные родственники, выдвигал Александра. Он посоветовал Настасье Федоровне брать Персию.

Так решали за его спиной как за маленького; хуже всего, что он знал об этом. Мать догадывалась: как только она заговорит о Персии, Александр станет перечить, между тем он, может быть, и сам хочет Персию.

Персия была выгодна в первую голову деньгами, и чином, и начальством Паскевича; в Москве, тем паче в Петербурге, дело другое и служба другая. Ни Персия, ни Петербург не были ясны для Настасьи Федоровны — это были места, куда годами проваливался Александр; как бы уехал на службу и не возвращался не четыре часа, а четыре года. Собственно, она не говорила даже: «Александр в Персии» или «на Кавказе», но: «Саша в миссии». Миссия — была учреждение, и так было покойнее, устойчивее. Она понимала только Москву и все же не хотела, чтобы Саша оставался в Москве.

— Ты сегодня дома обедаешь?

— Нет, татап, я приглашен.

Он не был приглашен, но не мог себя принудить обедать дома. Обеды были, признаться, дурные.

Настасья Федоровна шаловливо посмотрела в лорнет.

— Опять кулисы и опять актрисы?

Его мать, говорящая о его женщинах, была оскорбительна.

— У меня дела, матушка. Вы всё меня двадцатилетним считаете.

— В Петербург, вижу, не так уж торопишься.

— Напротив, завтра же утром и выезжаю.

Она любовалась им в лорнет.

— Где же твой Лев и твое Солнце?

Александр осторожно усмехнулся.

— Лев и Солнце, маменька, уже давно покоятся у ростовщика в Тифлисе. У меня был долг. Сослуживцу задолжать избави Боже.

Она отвела лорнет.

— Уже?

Заложенный орден давал ей превосходство. Разговор был неминуем.

— Сборы твои не слишком скоры?

Она суетливо взбила патку на левом виске.

— Нет. Я, собственно, не имею права долее одного дня медлить. Я и так задержался. Дело не шуточное.

— Я не об этих сборах говорю, я говорю о том, что ты собираешься делать.

Он пожал плечами, взглянул себе под ноги:

— Я, право, не подумал еще.

И поднял на нее совсем чужое, не Сашино лицо: немолодое, с облезшими по вискам волосами и пронзительным взглядом.

— Это зависит от одного проекта...

Она забилась испуганно прозрачными завитушками на лбу и снизила совершенно голос, как сообщник:

— Какого проекта, мой сын?

— ...о котором, татап, рано говорить...

Казалось бы, победил. А вот и нет, начиналась патетика, которая была горше всего.

— Alexandre, я вас умоляю, — она сложила ладони, — подумайте о том, что мы на краю... — Глаза ее стали красноваты, и голос задрожал, она не закончила.

Потом она обмахнула платочком красные глаза и высморкалась.

— И Jean, — сказала она совершенно спокойно о Паскевиче, — мне писал: в Персию. В Персию, да и только.

Последние слова она произнесла убежденно.

— Впрочем, я не знаю: может быть, ты, Саша, рассудил даже заняться здесь журналами?

Очень мирно, но, боже, что за legato!

И Jean, и Персия, и все решительная дичь: не хочет он в Персию, и не поедет он в Персию.

— Я сказал Ивану Федоровичу, что прошу представить меня только к денежному награждению. Я все предвидел, маменька.

Опять посмотрел на нее дипломатом, статским советником, восточным царьком.

— Я же, собственно, расположен к кабинетной жизни. А, впрочем, увижу...

Встал он совершенно независимо:

— Я пойду. Домой я сегодня буду поздно.

Перед самым порогом спасения Настасья Федоровна остановила его, прищурясь:

— Ты возьмешь каретку?

Он был готов ехать решительно на всем: на дрожках гитарой, на щеголеватом купеческом калибре, но только не в семейственной каретке.

— За мною прислал карету Степан Никитич, — он солгал.

— А.

И он спасся к парадным сеним, через первую гостиную — светло-бирюзовую и вторую гостиную — голубую, любимые цвета Настасьи Федоровны. В простенках были зеркала, а также подстольники с бронзой и очень тонким, вследствие сего вечно пыльным, фарфором; но и простым глазом было видно, что люстры бумажные, под бронзу. Чахлую мебель покрывали чехлы, которые здесь были со дня, как помнил себя Александр. В диванной он помедлил. Его остановил трельяж, оббитый плюшем по обе стороны дивана, и две горки à la помпадур.

Глупей и новей нельзя было ничего и представить, новые приобретения разорявшейся Настасьи Федоровны.

И карсель на одном столе, чистой бронзы.

Он постоял в углу у двери, перед столбом, который вился жгутом, столбом красного дерева, который загибался сверху крючком и этим крючком держал висящий фонарь с расписными стеклами.

Все было неудавшаяся Азия, разорение и обман.

Не хватало, чтобы стены и потолок были оклеены разноцветными зеркальными кусочками, как в Персии. Так было бы пестрее.

Это был его дом, его Heim¹, его детство. И как он все это любил.

Он устремился в сени, накиннул плащ, выбежал из дому, упал в карету.

2

Озираясь с некоторым любопытством, он получил впечатление, что движение совершается кругообразно и без цели.

Одни и те же русские мужики шли по мостовой — взад и вперед.

Щеголь пронесся на дрожках от Новинской площади, и сряду таковой же в противоположную сторону. Впрочем, он понял, в чем здесь дело: оба щеголя были в эриванках.

Не успели еще взять Эривани, как московские патриоты выражали уже свою суетность, напялив на головы эти круглые эриванки.

Нет, для Москвы, любезного отечества, не стоило драться на Закавказье, делать Кавказ кладбищем и гостиницей.

Пересек Тверскую, поехал по Садовой. Подозрительно грязны и узки были переулки, вливавшиеся в главные улицы. Карета свернула. Точно в Тебризе, где рядом с главной улицей грязь перевозданная, а

¹ Домашний очаг (нем.).

мальчишки ищут друг у друга вшей. Торчали колокольни. Они походили на минареты.

Он поймал себя на азиатских сравнениях, это была лень ума.

Все эти безостановочные дни, что он в какой-то лихорадке стяжания торговался с персами из-за каждого клокка земли в договоре, что он мчался сюда с этим договором, имевшим уже свою кличку: Туркменчайский, — чтобы везти его сразу же, без промедления, в Петербург, — он двигался по всем направлениям, расточал любезность, ловкость, он хитрил, скрывал, был умен и даже не задумывался над этим всем, так уж шло.

Нынче же, под самым Петербургом, он осел; Москва его наспех проглотила и как бы забыла. Он начинал за эти два дня бояться, томиться, что не довезет мира до Петербурга, — боязнь детская и неосновательная.

Стоял печальный месяц март. Снег московский, внезапное солнце, а то и тень, скука — в два дня — дома, на улицах еще скучнее — не давали сосредоточиться. Все это было вроде арабесков, как он их созерцал в бессонные ночи под Аббас-Абадом, во время переговоров, что идешь, идешь за линией, натыкаешься на препону, и путаница. Как сильно действовала на него хорошая и дурная погода: на солнце он был мальчиком, в тени стариком.

Страшно подумать: рассеянность и холод коснулись даже проекта; он не был больше уверен в нем, даже напротив, проект, без сомнения, поскользнется... Прохожий франт поскользнулся, долго брыкал и потом оглядывался, не смеются ли.

Он и выезжал теперь с этой жадой, с этим тайным намерением: выловить где-то на улицах решение.

Он растерял свои годы по столбовым дорогам, изъездил их — и вот теперь ловил свою молодость по переулкам.

Так обессиливала его Москва.

В последний день он решил объехать знакомых. Решения он на улицах не находил никакого. Просто был март: то солнце, то тень, много прохожих русских мужиков, толкущихся на одном месте. У них были одинаковые лица — все те же, что шли вперед, возвращались назад. Гнались друг за другом русские мальчишки со здоровым, беспричинным ревом.

И одна за другой плелись кареты, дрожки. Может быть, каждая отдельно и шла быстро, даже мчалась, но все вместе они плелись. Лошадь задрала голову из цепи.

У него промелькнула безобразная фраза: «Лошади здесь сродни черным мулам» — фраза для азиатского Олеария.

Никто на него не обращал внимания.

С огорчением он заметил, что это именно уязвляло его. Он отлично знал, что главная встреча предстоит в Петербурге, да и в Москве его встретили торжественно. Все же ему было неприятно, что,

проскакав месяц, везя в своих бумагах достославный, пресловутый Туркменчайский мир, в этот день он был оставлен в Москве на самого себя.

Это было ребячеством.

Щеголи в крылатках, в эриванках, воздушные, как бабочки, казались существами из особого мира. Все нынче на Москве было заражено легкостью, бойкостью. Очень все молодцеваты стали. И ненадежны. Казалось, что дрожки с пролетным франтом сейчас полетят по воздуху, оставив внизу салопницу и мужика, несущего на голове бочонок сельдей и, как тяжким маятником, качающего рукой.

Но франта теснили лошадиные морды, и из толпы упорно выплывал все тот же мужик, с механической грацией качавший туловищем и рукою.

Он нес на голове бочонок и поэтому балансировал, как балерина.

Даже у московских мужиков за два года, что он не был в Москве, исчезла медвежеватость, даже салопницы были охвачены движением — те же самые шли вперед и возвращались назад.

Так ему казалось, он был близорук.

Навстречу медленно, как во сне, равнодушно, как на театре, проплыл мужик, в санях не по времени. Ехал он по Садовой, как по деревне.

Он плыл с открытым ртом, не думая, не чувствуя, с неопределенной сосредоточенностью глядя вперед.

А рядом в дрожках ехал Макниль.

Он испугался, как это просто он рядом с мужиком отметил доктора Макниля.

Все совершается непоследовательно, но просто: по улице едет мужик, и почти рядом с ним англичанин, главный доктор тебризской миссии, Макниль.

Он жадно посмотрел в ту сторону, но Макниля не было, а был толстый полковник с собачьими баками.

Однако как он сюда попал? Если Макниль поехал в Россию, он должен бы об этом знать. Впрочем, доктор, может быть, действовал прямо через Паскевича. Однако Паскевич должен бы и в этом случае его предупредить.

Хотя что же в этом он находит особого?

И, может быть, это вовсе не Макниль.

Он пожал плечами с неудовольствием. Лицо англичанина так ему примелькалось в Тебризе, что он родную мать вскоре за него примет. Он снял очки и сердито протер их кружевным платком. Глаза без очков смотрели в разные стороны.

Кучер остановил карету на Пречистенке, у Пожарного депо.

3

Уже самый дом несколько поражал своей наружностью, он вдвигался в сад. Корпус был приземист, окна темноваты, парадная дверь тяжела и низка. Здесь жил теперь отставной Ермолов.

Дверь глядела исподлобья, подавалась туго и готова была каждого гостя вытолкнуть обратно, да еще и прихлопнуть.

Особенно его.

Тот любезный, искательный Ермолов, который при Александре владел Кавказом, замышлял войны, писал нотации императору, грубиянствовал с Нессельродом, более не существовал, не должен был, по крайней мере. Каков же был теперешний, в этом доме?

Отношения с Ермоловым за два последние года были мучительны. Вернее, их не было. Они избегали друг друга.

Когда Николай взял приступом дворец, он почувствовал себя сиротливо, выскочкой — *parvenu*. Тогда стали рыться в разговорах и нумеровать шепоты. Оказалось, между прочим, что на Кавказе сидело косматое чудище — проконсул Кавказа, хрипело, читало нотации и т. д. Показалось, что он хочет отложиться, отпасть от империи, учредить Восточное государство. Ждали, что он после декабря пойдет на Петербург. Его окружали подозрительные люди. Он вел свою линию на Востоке, следовало его убрать.

Вскоре началась война с Персией. Старик попробовал буркнуть на Петербург, вмешивающийся в его военные дела. Но его время прошло, как и его дела.

Империи более не требовались тучность полководцев и быстрота поэтов.

К нему приставили дядькой Паскевича.

Паскевич умел подчиняться и любил подчиняющихся.

Он терпеливо доносил на Ермолова и объяснял Николаю, что лучше всего назначить главнокомандующим его и отрешить Ермолова.

Персидские дела пошли и того хуже. У персов был полководец горячий — Аббас-Мирза. Русские военачальники грызлись.

Вскоре на них обоих прислали еще старшего. Дибич был уже совсем крошкой, рыжая, пылкая, нечистоплотная фигурка.

Ермолов смотрел исподлобья, Паскевич ел глазами, Дибич косил в землю.

Он боялся, что над ним смеются.

Дибич написал императору, что нужно сместить и старика и молодого, а поставить человека средних лет.

Сам он, однако, от этого ничего не выиграл, вернулся восвояси. Выиграл Паскевич. Ермолова уволили, как были уже уволены двадцатые годы вообще.

Всех его помощников, после войны, тоже убрали на покой. Образовалась как бы ермоловская партия — недовольных генералов.

Бренча саблями или, если уж они были в отставке, просто дергая плечами, они хрипели вокруг низверженного монумента.

Они собирались в Москве к нему на Пречистенку, как тамплиеры в храм, как христиане в катакомбы. И монумент их благословлял.

Выбитый из оси, на которой он двигался тридцать восемь лет службы, он врос в землю. Он устанавливал одним примером из тактики превосходство Наполеона над Ганнибалом, одним русским словом уничтожал значение занесшегося николаевского выскочки. Тихо трепеща канителью эполет и волоча ноги, проходили перед ним генералы, опираясь по-отставному на палки.

Война кончилась; Аббас-Мирза, величайший азиатский полководец и дипломат, был сломлен. В Петербурге ждали Туркменчайского мира.

Генералы знали: война выиграна бездарно, Паскевича в деле и не видали, все сделали Вельяминов и Мадатов, а он только имя свое приложил. А потом надоносил, представил в ложном свете и обоих выгнал. Генералов в двадцатом веке назвали бы пораженцами.

Но Грибоедов — он-то что же приложил свое имя к Паскевичеву?

Здесь начинался неприятный провал, смутная область.

Было подозрительно, как вдруг стал блистателен стиль Паскевича, который не знал грамоты: даже в партикулярной переписке вместо буки-аз-ба у него появилась решительная красота и стройность. Кто-то ему помогал. Неужели Грибоедов?

Ведь Грибоедов, при первом известии о посылке дядьки, говорил генералам:

— Каков мой-то халуй? Как вы хотите, чтобы этот человек, которого хорошо знаю, торжествовал над нашим? Верьте, что наш его проведет, и этот, приехав впопыхах, уедет со срамом.

Грибоедов же был питомец старика. Питомец не сморгнул глазом, когда полководца уволили; остался цел и невредим, а потом вознесся.

И неужто причиной было ничтожное обстоятельство, что он был свойственник Паскевичу?

Один генерал сказал о нем со вздохом:

— Его замутил бес честолубия. Господа, ему тридцать два года. Это, по Данту, середина жизни или около того. Это эра, когда в ту или иную сторону человека мутит.

Ермолов же тогда посмотрел, и на лице его не отразилось ничего.

Старый слуга равнодушно встретил пришедшего в сенях и проводил наверх, в кабинет хозяина.

Кабинет был невелик, с темно-зеленой мебелью. Наполеон висел на стенах во многих видах, всюду мелькали нахмуренные брови, сжатые крестом руки, треугольная шляпа, плащ и шпага.

Слуга усадил Грибоедова и спокойно пошел вон.

— Они занимаются в переплетной, сейчас доложу. Что еще за переплетная?

Ждать пришлось долго. В этом не было ничего обидного, хозяин был занят. Всюду висел Наполеон. Серый цвет императорского сюртука был облачным, как дурная погода под Москвой, лицо его было устроено просто, как латинская проза.

До такой прозы Россия еще не дошла.

«Цезарь» было прозвище старика, но и в этом ошибались: он был похож скорее на Помпея и ростом, и статурою, и странною нерешительностью. До Цезаревой прозы ему не дойти. И даже до Наполеоновой отрывистой риторики.

На хозяйском кресле лежал брошенный носовой платок. Вероятно, не нужно было сюда заезжать.

Послышались очень покойные шаги, шлепали туфли; пол скрипел.

Ермолов появился на пороге. Он был в сером легком сюртуке, которые носили только летом купцы, в желтоватом жилете. Шаровары желтого цвета, стянутые книзу, вздувались у него на коленях.

Не было ни военного сюртука, ни сабли, ни подпиравшего шею простого красного ворота, был недостойный маскарад. Старика ошельмовали.

Грибоедов шагнул к нему, растерянно улыбнувшись. Старик остановился.

— Вы не узнаете меня, Алексей Петрович?

— Нет, узнаю, — сказал просто Ермолов и, вместо объятия, всунул Грибоедову красную, шершавую руку. Рука была влажная, недавно мыта.

Потом, так же просто обошедши гостя, он сел за стол, оперся на него и немного нагнул перед с видом: я слушаю.

Грибоедов сел в кресла и закинул ногу на ногу. Потом, слишком пристально глядя на него, как смотрят на мертвых, он заговорил.

— Скоро отправляюсь, и надолго. Вы мне оказали столько ласковостей, Алексей Петрович, что я сам себе не мог отказать, зашел по пути проститься.

Ермолов молчал.

— Вы обо мне думайте, как хотите, — я просто в несогласии сам с собой, боюсь, что вы сейчас вот ловите меня на какой-нибудь околличности — не выкланиваю ли вашего расположения. И вы поймите, Алексей Петрович: я проститься пришел.

Ермолов вынул тремя пальцами из тавлинки понюх желтоватого табаку и грубо затолкал в обе ноздри. Табак просыпался на подбородок, на жилет и на стол.

— Ласковостей я вам, Александр Сергеич, никаких не оказывал; этого слова в моем лексиконе даже нет; это вам кто-то другой ласковости оказывал. Просто видел, что вы служить рады, прислуживаться

вам тошно, — вы же об этом и в комедии писали, а я таких людей любил.

Ермолов говорил свободно, никакого принуждения в его речи не было.

— Нынче время другое и люди другие. И вы другой человек. Но как вы были в прежнее время опять же другим человеком, а я прежнее время больше люблю и уважаю, то и вас я частью люблю и уважаю.

Грибоедов вдруг усмехнулся.

— Похвала ваша не слишком заслуженна или, во всяком случае, предускоренна, Алексей Петрович. Я вас, как душу, любил и в этом хоть остался неизменен.

Ермолов собирался поднести к носу платок.

— Так вы, стало, и душу свою не любили.

Он высморкался залпом.

— И, стало, в душу заглядываете только по пути от Пашкевича к Нессельроду.

Старик грубиянствовал и нарочно произносил: Пашкевич. Он побарабанил пальцами.

— Сколько куруров отторговали от персиян? — спросил он с некоторым пренебрежением и, однако же, любопытством.

— Пятнадцать.

— Это много. Нельзя разорять побежденные народы.

Грибоедов улыбнулся.

— Не вы ли, Алексей Петрович, говорили, что надо колеи глубже нарезать? Вы ведь персиян знаете — спросить с них пять куруров, так они и вовсе платить не станут.

— То колеи, а то «война или деньги». «Кошелек или жизнь».

«Война или деньги» была фраза Паскевича.

Ермолов помолчал.

— Аббас-Мирза глуп, — сказал он, — позвал бы меня к себе в полководцы, не то было бы. Меня ж чуть в измене здесь не обвиняют, вот бы он, дурак, и воспользовался.

Грибоедов опять посмотрел на него, как на мертвого.

— Я не шучу, — старик сощурил глаз, — я план русской кампании получше и Аббаса, да уж и Пашкевича, разработал.

— Ну и что же? — еле слышно спросил Грибоедов.

Старик раскрыл папку и вынул карту. Карта была вдоль и поперек исчерчена.

— Смотрите, — поманил он пальцем Грибоедова, — Персия. Так? Табриз — та же Москва, большая деревня, только что глиняная. И опустошенная. Я бы на месте Аббаса в Табриз открыл дорогу, подослал бы к Пашкевичу людей с просьбой, что, мол, они недовольны правительством и, боясь, дескать, наказания, просят поспешить освободить их... Так?.. Пашкевич бы уши развесил... Так? А сам бы, — и он

шелкнул пальцем в карту, — атаковал бы на Араксе переправу, ее уничтожил и насел бы на хвост армии...

Грибоедов смотрел на знакомую карту. Аракс был перечеркнут красными чернилами, молниеобразно.

— На хвост армии, — говорил, жуя губами, Ермолов, — и разорял бы транспорты с продовольствием.

И он черкнул шершавым пальцем по карте.

— В Адербиджане истреблять все средства существования, транспорты губить, заманить и отрезать...

Он перевел дух. Сидя за столом, он командовал персидской армией. Грибоедов не шелохнулся.

— И Пашкевич единым махом превратился бы в Наполеона на Москве, только что без ума. А Дибич бы в Петербург, к Нессельроду...

Голова его села в плечи, а правая рука стала подавать в нос и сыпать на жилет, на грудь, на стол табак.

Потом он закрыл глаза, и все вдруг на нем заходило ходенем: нос, губы, плечи, живот. Ермолов спал. С ужасом Грибоедов смотрел на красную шею, поросшую мышьям мохом. Он снял очки и растерянно вытер глаза. Губы его дрожали.

Минута, две.

Никогда, никогда раньше этого не бывало... За год отставки...

— ...писал бы на него... письма, — закончил вдруг Ермолов, как ни в чем не бывало, — ... натуральным стилем. А то у Пашкевича стиль не довольно натурален. Он ведь грамоте-то, Пашкевич, тихо знает. Говорят, милый-любезный Грибоедов, ты ему правишь стиль?

Лобовая атака.

Грибоедов выпрямился.

— Алексей Петрович, — сказал он медленно, — не уважая людей, негодуя на их притворство и суетность, черт ли мне в их мнении? И все-таки, если вы мне скажете, кто говорит, я, хоть дурачеств не уважаю, буду с тем драться. Вы же для меня неприкосновенны, и не одной старостью.

— Ну, спасибо, — сказал Ермолов и недовольно улыбнулся, — я и сам не верю. Ну, хорошо, — он забежал глазами по Грибоедову, — бог с вами. Поезжайте.

Он встал и протянул ему руку.

— На прощанье вот вам два совета. Первый — не водитесь с англичанами. Второй — не служите вы за Пашкевича, *pas trop de zèle*¹. Он вас выжмет и бросит. Помните, что может назваться счастливым только тот, которому нечего бояться. Впрочем, прощайте. Без вражды и приязни.

Когда Грибоедов спускался по лестнице, у него было скучающее

¹ Не очень-то усердствуйте (*франц.*).

и рассеянное выражение лица, как бывало в Персии, после переговоров с Аббасом-Мирзой.

Ермолов провожал его до лестницы. Он смотрел ему вслед.

Грибоедов шел медленно.

И тяжелая дверь вытолкнула его.

4

И с сердцем грудь полуразбитым
Дышала вдвое у меня,
И двум очам полужакрытым
Тяжел был свет двойного дня.

Шевырев

Путешествие от Пречистенки до Новой Басманной по мерзлым лужам, конечно, было длинно, но ведь не длинней же пути от Тифлиса до Москвы.

И все-таки оно было длиннее.

Сашка сидел на козлах с надменным видом, как статуя. В этом полагал он высшую степень воспитания. Взгляды, которые он обращал на прохожих, были туманны. Кучер орал на встречных мужиков и похлестывал кнутом по их покорным клячам. В Тавризе хлещут кнутом по встречным прохожим, когда едет шах-задэ (принц) или вазир-мухтар (посланник).

Маменькина Персия, будь она трижды проклята, немилая Азия, далась она ему. О нем говорят, что он подличает Паскевичу. И вот это нисколько не заняло его. Судьи кто? У него были замыслы. Ценою унижения надлежало добиться своего. *Paris vaut bien une messe*¹. И ребячество возиться со старыми друзьями. Они скажут: Молчалин, они скажут: вот куда он метил, они его сделают смешным. Пусть попробуют.

Какая бедная жизнь, какие старые счета.

И, может быть, ничего этого не нужно.

В месяце марте в Москве в три часа нет ни света, ни тени.

Все неверно, все колеблется, нет ни одного принятого решения, и самые дома кажутся непрочными и продажными. В месяце марте в Москве нельзя искать по улицам твердого решения или утерянной молодости.

Все кажется неверным.

С одной стороны — едет по улице знаменитый человек, автор знаменитой комедии, восходящий дипломат, едет небрежно и неза-

¹ Париж стоит обедни (*франц.*).

висимо, везет знаменитый мир в Петербург, посетил Москву проездом, легко и свободно.

С другой стороны — улица имеет свой вид и вещественное существование, не обращает внимания на знаменитого человека. Знаменитая комедия не поставлена на театре и не напечатана. Ему не рады друзья, он человек оторвавшийся. Старшие обваливаются, как дома. И у знаменитого человека нет крова, нет своего угла, и есть только сердце, которое ходит маятником: то молодо, то старо.

Все неверно, все в Риме неверно, и город скоро погибнет, если найдет покупателя.

Сашка сидит неподвижно на козлах, с надменным видом.

Взгляды, которые он обращает на прохожих, — туманны.

5

Он остановил каретку в приходе Петра и Павла, у дома Левашовых.

Приютное убежище, должно быть.

В пустом саду было много дорожек и много флигелей, разбитых вокруг главного дома. Он попробовал двинуться к одной двери, но из окна выглянула весьма милая женская голова. Чаадаев же был отшельник, анахорет, совершенно лишенный вкуса к этой области. Он отступил и осмотрелся.

Флигеля были расположены вокруг дома звездой, невинная затея. Он улыбнулся как старому знакомому и дернул первый попавшийся колокольчик. Открыл ему дверь аббат в черной сутане. Он быстро и вежливо указал флигель Чаадаева и спрятался. Зачем он сам здесь жил в Москве, Бог один его знал.

Дом Левашовых был не простой дом. Он стоял в саду, был снабжен пятью или, может быть, шестью дворами, в каждом дворе флигель, в каждом флигеле по разным причинам проживающие лица: кто из дружбы, кто из милости, кто для удовольствия, кто по необходимости, кто без всякого резона, хозяевам было веселее. Чаадаев сюда переехал на житье по всем резонам сразу, и главное, потому, что денег не было.

Тот же камердинер Иван Яковлевич, в франтовском старомодном жабо, поклонился Грибоедову и пошел доложить. За стеною Грибоедов усылал раздраженный шепот, кто-то шикал и покашливал. Он уже собирался сказать свинью Чаадаеву, как камердинер вернулся. Иван Яковлевич разводил руками и объявил бесстрастно, что Петр Яковлевич болен и не принимает. В ответ на это Грибоедов скинул к нему на руки плащ, бросил шляпу и двинулся в комнаты.

Не постучав, он вошел.

Перед столом с выражением ужаса стоял Чаадаев.

Он был в длинном, цвета московского пожара халате.

Тотчас же он сделал неуловимое сумасшедшее движение ускользнуть в соседнюю комнату. Бледно-голубые, белесые глаза прятались от Грибоедова. Было не до шуток, пора было все обращать в шутку.

Грибоедов шагнул к нему и схватил за рукав.

— Любезный друг, простите меня за варварское нашествие. Не торопитесь одеваться. Я не женщина.

Медленно совершалось превращение халата. Сначала он вис бурой тряпкой, потом складок стало меньше, он распрямился. Чаадаев улыбнулся. Лицо его было неестественной белизны, как у булочников или мумий. Он был высок, строен и вместе хрупок. Казалось, если притронуться к нему пальцем, он рассыплется. Наконец он тихо засмеялся.

— Я, право, не узнал вас, — сказал он и махнул рукой на кресла, — садитесь. Я не ждал вас. Говоря откровенно, я никого не принимаю.

— И тем больше не хотели меня. Я действительно несвятостью моего житья не приобрел себе права продолжать дружбу с пустынноиками.

Чаадаев сморщился.

— Не в том дело, дело в том, что я болен.

— Да, вы бледны, — сказал рассеянно Грибоедов. — Воздух здесь несвеж.

Чаадаев откинулся в креслах.

— Вы находите? — спросил он медленно.

— Редко проветриваете. Впрочем, я, может быть, отвык от жилья.

— Не то, — протянул Чаадаев, задыхаясь, — я, что же, по-вашему, бледен?

— Слегка, — удивился Грибоедов.

— Я страшно болен, — сказал упавшим голосом Чаадаев.

— Чем же?

— У меня обнаружились рюматизмы в голове. Вы на язык взгляните, — и он высунул гостью язык.

— Язык хорош, — рассмеялся Грибоедов.

— Язык-то, может быть, хорош, — подозрительно поглядел на него Чаадаев, — но главное, это слабость желудка и вертижи. Всякий день встаю с надеждой, ложусь без надежды. Главное, разумеется, диет и правильная жизнь. Вы по какой системе лечитесь?

— Я? По системе скакания на перекладных. То же и вам советую. Если вы чем и больны, так гипохондрией. А начнете подпрыгивать да биться с передка на задок, у вас от этого противоположного движения пройдут вертижи.

— Гипохондрия-то у меня прошла, у меня... — протянул Чаадаев и вдруг всмотрелся в гостя. Он опять засмеялся.

— Все это глупости, любезный Грибоедов, я вас мучаю такими мизерами, что, право, смешно и глупо. Вы откуда и куда?

— Я? — удивился слегка Грибоедов. — Я из Персии и везу в Петербург Туркменчайский мир.

— Какой это мир? — легко спросил Чаадаев.

— Мир? Но Туркменчайский же. Неужели вы о нем не слышали?

— Нет, я ведь никого не принимаю, только abbé¹ Барраль ко мне иногда заходит. Газет я не читаю.

— Вы, чего доброго, не знаете, пожалуй, что у нас война с Персией? — спросил чем-то довольный Грибоедов.

— Но ведь у нас, кажется, война с Турцией, — сказал равнодушно Чаадаев.

Грибоедов посмотрел на него серьезно:

— Это начинается с Турцией, а была с Персией, Петр Яковлевич.

— Бог с ним, с этим миром, — сказал надменно Чаадаев. — Вы-то, вы что за это время делали? Ведь мы с вами не видались три года... или больше.

— Я сел на лошадь, пустился в Иран, секретарь бродящей миссии. По семьдесят верст каждый день, по два, по три месяца сряду. Промежутки отдохновения бесследны. Так и не нахожу себя самого.

— Вот как, — сказал, с интересом всматриваясь в него Чаадаев, — но ведь это болезнь, это называется боязнь пространства, агорафобия. Вы скачете по большому пространству и оттого...

— Положим, однако, что я еще не совсем с ума сошел, — сказал Грибоедов, — различаю людей и предметы, между которыми движусь.

Чаадаев отодвинул рукой его слова.

— Вот и я тоже: сию, сию — прислушиваюсь...

— И что же вы слышите?

— Многое, — кивнул снисходительно Чаадаев, — сейчас Европа накануне скачка. Она тоже, наподобие вас, не находит самое себя. Будьте уверены, что в Париже рука уже вынула камень из мостовой.

Чаадаев погрозил ему пальцем. Грибоедов вслушался.

Он почувствовал неестественность белого лица и блестящих голубых глаз, речи, самые звуки которой были надменны.

Новая Басманная с флигелями отложилась, отпала от России.

— Мой дорогой друг, — сказал Чаадаев, с сожалением глядя на Грибоедова, — вы, как то свойственно и всякому человеку, полагаете самым важным то, что вам ближе. Вы ошибаетесь. Не в войнах, конечно, теперь дело. Война в наш век — игрушка дураков. Присоединят колонию, присоединят другую — что за глупое самолюбие пространства! Еще тысяча верст! Нам и своих девать некуда.

Грибоедов медленно краснел.

Чаадаев прищурил глаза.

— Лечитесь. У вас нехороший teint². Вам нужен геморроидальный

¹ Аббат (франц.).

² Цвет лица (франц.).

режим. Непременно должно ходить на двор, *aus freier Hand*, как это называется по-немецки.

— Вы не знаете России, — говорил Грибоедов, — а московский Английский клуб...

Чаадаев насторожился.

— ...для вас подобье английской палаты. Вот вы говорите: тысяча верст, а сидя в этом флигеле...

— Павильоне, — недовольно поправил Чаадаев.

Нетопленный осклизлый камин имел вид развратника поутру. Чаадаев почти лежал в низких длинных английских креслах, похожих на носилки. Ноги его в туфлях торчали.

— Во всем этом есть некоторая путаница, — сказал он в нос и, вытянув губы, закачал головой, как музыкант, прислушивающийся к новой пиесе, разыгрываемой перед ним впервые.

Грибоедов следил за ним с любопытством.

— Так, так, — сказал вдруг Чаадаев, поймав наконец за хвост какой-то ритм или мелодию, и, поднеся к губам палец, вдруг этот хвост проглотил. Он хитро и многозначительно поглядел на Грибоедова, полюбовался им, как бы говоря: «Я знаю, а тебе не скажу».

Вошел Иван Яковлевич, держа на подносе две чашки кофе. Грибоедов глотнул и с отвращением отставил свою чашку.

— Желудочный кофе, — пояснил Чаадаев, прихлебывая, — меня выучили варить его в Англии.

«Много чему тебя там выучили», — подумал Грибоедов.

— Я многому там научился, — сказал Чаадаев, пристально глядя на него. — Но не всем дано научиться. Пружины тамошней жизни сначала прямо отталкивают. Движение необъятное — вот все, не с чем симпатизировать. Но научитесь говорить слово *home*¹ как англичанин, и вы позабудете о России.

— Это отчего же?

— Потому что там есть мысль, одна спокойная мысль во всем. У нас же, как вы, вероятно, успели заметить, ни движения, ни мысли. Неподвижность взгляда, неопределительность физиогномии. Тысяча верст на лице.

Он позвонил.

Вошел Иван и вопросительно глянул.

— Можешь, любезный, идти, — сказал снисходительно Чаадаев. — Это я так позвонил.

Иван вышел.

— Вы видели это лицо? — спросил спокойно Чаадаев. — Какая неподвижность, неопределенность... неуверенность — и холод. Вот вам русское народное лицо. Он стоит вне Запада и вне Востока. И это ложится на его лицо.

¹ Дом, домашний очаг (*англ.*).

«Ну и соврал», — с сладострастием подумал Грибоедов.

— Ваш человек не русский, — сказал он холодно Чаадаеву, — он только кривляет свое лицо, он вас копирует. А мы кто? Поврежденный класс полувевропейцев.

Чаадаев смотрел на него покровительственно.

— О, любезный друг, какая у вас странная решительность мнений и разговора, вообразите, я ее встречаю везде, кругом, ее — и не мощность поступков.

Грибоедов не ответил, и наступила тишина.

Чаадаев увлекся кофеем, прихлебывал.

— У нас тоже есть мысль, — сказал вдруг Грибоедов, — корысть, вот общая мысль. Другой нет и быть не может, кажется. Корысть захочит всех более познавать и самим действовать. Я в Париже не бывал, ниже в Англии, а на Востоке был. Страсть к корысти, потом к улучшению бытия своего, потом к познанию. Я хотел вам даже рассказать об одном своем проекте.

Чаадаев пролил кофе на халат.

— Да, да, да, — сказал он недоверчиво и жадно поглядывал на Грибоедова, — помнится, я читал об этом.

— О чем читали? — остолбенел Грибоедов.

— Но, бог мой, и о корысти и... проект. Вы читали Сен-Симона? И потом... милый друг, да ведь это же об Ост-Индской компании была статья в «Review».

Грибоедов насупился. Склизкие глаза Чаадаева на него посматривали.

— Да, да, — говорил Чаадаев тускло, — это интересно, это очень интересно.

— Мой друг, мой дорогой друг, — сказал он вдруг тихо, — когда я вижу, как вы, поэт, один из умов, которые я еще ценю здесь, вы — не творите более, но погружаетесь в дразги, мне хочется сказать вам: зачем вы стоите на моем пути, зачем вы мне мешаете идти?

— Но вы, кажется, и не собираетесь никуда идти, — сказал спокойно Грибоедов.

Чаадаев сбросил на стол черный колпак с головы. Открылась лысина высокая, сияющая. Он сказал, гнусавя, как Тальма:

— О мой корыстный друг, поздравляю вас с прибытием в наш Некрополь, город мертвых! Долго ли у нас погостите?

Провожая Грибоедова, он у самых дверей спросил его беспечно:

— Милый Грибоедов, выпри деньгах? Мне не шлют из деревни. Ссудите меня пятьюдесятью рублями. Или ста пятьюдесятью. Первой же поштой отошлю.

У Грибоедова не было денег, и Чаадаев расстался с ним снисходительно.

6

...Освещенные окна вызвали знакомое томление: кто-то его ждал в одном из окон.

Он знал, что все это, конечно, вздор, ни одно окно не освещено, ни одно сердце не бьется здесь для него.

Он знал больше: за окнами сидят молодые, старые и средних лет люди, по большей части чиновники, дрянь, говорят, сплетничают, играют в карты, наконец гаснут. Все это, разумеется, вздор и бредни. И на сто человек — один умный.

Стыдно сознаться, он забыл имена московских любовниц; окна светились не для него, бордели его юности были закрыты.

Где найдет он странноприимный дом для крова, для сердца?

7

Он увидел розовое лицо, пух мягких волос, услышал радостное трепыхание дома, детский визг из комнат и женское шиканье — и ощутил прикосновение надежной щеки.

Весь он был заключен в мягкие, необыкновенно сильные объятия.

Тогда он понял, что все, что утром творилось, — раздражение нерв, дрянь, шум в крови.

Просто — он начал визиты не с того конца.

И он обнял Степана Никитича со старой быстротой, щегольством угловатых движений.

Уже бежали дети, воспитанницы, гувернантки из дверей с визгом.

Мамзель Питон отступила перед ним в реверансе, как Кутузов перед Наполеоном.

Она была налита ядом, и ее прозвали дома Пифоном.

Дети и воспитанницы тряслись на ножках, ожидая очереди на реверанс.

Детей Степан Никитич тотчас отослал. Мамзели Пифону он отдал какие-то распоряжения почти на ухо, так что Пифон с гадливостью отшатнулся. Впрочем, она тотчас же скрылась.

— Змей Горыныч, — кивнул головой Степан Никитич не Грибоедову, а вообще. — Диво женское.

Соорудился стол.

Виноград из Крыма, яблоки из собственного имения, трое лакеев побежали, запыхавшись, за остальным.

Степан Никитич расставил вино, обратился не то к бутылкам, не то к Грибоедову: «Знай наших» или: «Не замай наших» и уставил в порядок.

Потом деловито потащил его к свету, серьезно оглядел и хмыкнул от удовольствия. Грибоедов был Грибоедов.

— Что ж ты, мой друг, не заехал ко мне сразу? Ведь стыдно ж тебе маменьку беспокоить. Ведь твой Сашка там в гроб всех уложит.

Стало ясно, как дважды два равно четырем, что он, Александр Грибоедов, Саша, приехал с Востока, едет в Петербург, везет там какие-то бумаги, и баста. Расспросы и рассказы ни к чему не поведут. Они имеют смысл, только когда люди не видятся день или неделю, а когда они вообще видятся неопределенно и помалу, — всякие расспросы бессмысленны. Чтобы продолжалась дружба, нужно одно: тождество.

Степан Никитич тащил Грибоедова к окну убедиться, что он тот же, и убедился.

Принесли еще вина, пирог с трюфелями.

Степан Никитич слегка нахмурился, оглядел стол. В его взгляде была грусть и опытность.

Он взял какую-то бутылку за горло, как врага, примерился к ней взглядом — и вдруг отослал обратно.

Грибоедов, уже расположившись поесть, внимательно за ним следил.

Они встретились взглядами и захохотали.

— Анна Ивановна-то, друг мой, — сказал Бегичев значительно о своей жене, — это я только при змее Пифоне тебе сказал, что она в гостях. Она опять к матушке перебралась.

Он покосился на лакея и нахмурил брови.

— На сносях, — сказал он громким шепотом.

— Ты скажи ей, моему милому другу, — сказал Грибоедов, — что если мои желания исполнятся, так никому в свете легче ее не рожать.

Анна Ивановна была его приятельницей, заступницей перед маменькой и советчицей.

— А ты как, на которую наметил? — спросил и весело и вместе не без задней мысли Бегичев.

— Будь беззаботен, — расхохотался Грибоедов, — я расколодел.

— А..? — Бегичев шепотом назвал: — Катенька.

Грибоедов отмахнулся.

— Роскошествуешь и обмираешь? — подмигнул Бегичев.

— Да я ее навряд и увижу.

— Ты в нее тряпичатым подарком стрельни, — посоветовал Бегичев, — они это любят.

— В Персии конфеты чудесные, — ответил задумчиво Грибоедов, жуя халву.

Бегичев щелкнул себя по лбу:

— Позабыл конфеты, ты ведь конфеты любишь, сладстена.

— Не тревожься. Здесь таких конфет вовсе нет. Там совсем другие конфеты. Вообрази, например, кусочки, и тают во рту. Называется пuffed, или вроде хлопчатой бумаги, и тоже тают. Называется пешмек. Потом гез, луз, баклава — там, почитай, сортов сотня.

Бегичев чему-то смеялся.

— Маменька-то, — сказал он вдруг, — я ее с месяц уже не видал. Прожилась совсем.

Грибоедов помолчал.

— А твои заводы как?

Он огляделся вокруг.

— У тебя здесь перемены, как будто просторнее стало.

— Сердце мое, — говорил Бегичев, — ты нисколько не переменялся. Заводы у меня совсем не идут. У жены что дядей, теток!

Бегичев все строился и пускал заводы, но заводы не шли. Состояние жены проживалось медленно, оно было значительное. Женины родственники вмешивались в дела и наперерыв давали советы, бестолковые.

Потом Бегичев повел его в диванную, Грибоедов забрался с ногами на широкий, мягкий, почти азиатский диван. Бегичев притащил с собой вина и запер дверь, чтоб Пифон не подслушивал.

— Я сегодня в вихрях ужасных, — сказал Грибоедов и закрыл глаза. — Все пробую, все не дается. Я, вот погоди, переберусь к тебе, на твой диван совсем. Поставишь мне сюда стол, и буду писать.

Бегичев вздохнул.

— Перегори, потерпи еще. Поезжай в Персию на год.

Грибоедов открыл глаза.

— Маменька говорила?

— Да что ж маменька, у маменьки пятнадцать тысяч долгу у старика Одоевского.

И, взглянув в глаза Бегичева, Грибоедов понял, что не о маменьке речь.

— Я уже давно отказался от всяких тайн. Говори свободно и свободно.

— Тебе в Москве нехорошо будет, — сказал Бегичев и снял пылинку с грибоедовского сюртука. — Люди другие пошли. Тебе с ними не ужиться.

Грибоедов взмахнул на него глазами:

— Ты обо мне как о больном говоришь.

Бегичев обнял его.

— У тебя сухая кровь, Александр. Тебе самому, мой единственный друг, здесь не усидеть. Вспомни, как перед «Горем» было: бродил, кипел, то собирался жить, то умирать. И вдруг как все пошло!

Он был старше Грибоедова; у него не было имени, о положении он не заботился, просто проживал женино состояние, но он имел над ним власть. Грибоедов рядом с ним казался себе неосновательным.

Таков был мягкий пух бегичевской головы.

— Я в Персию не поеду, — лениво сказал Грибоедов, — в Персии

у меня враг, Алаяр-хан, он зять шаха. Меня из Персии живым не выпустят.

Он не думал о докторе Макниле, не помнил о нем — но когда говорил о Персии, чувствовал неприятность свежего, не персидского происхождения.

— Я что? — говорил Бегичев. — Я ем, пью, тешусь заводами. Утром встаю, думаю: много еще времени до вечера, вечером: еще ночь впереди. Так и время пройдет. А тебе большое плавание. А отчего Алаяр-хан сделался враг твой? Да, да. Это участь умных людей, что большую часть жизни надо проводить с дураками. А здесь их сколько! Тьмы и тьмы. Больше, чем солдат. Может, к Паскевичу?

— Неужто ты думаешь, — сказал Грибоедов и скосил глаза, как загнанный, — что я у него способен вечно служить?

Ему стало тесно на диване.

Они выпили вина.

— Ты не пей бургундского. От бургундского делается вихрь в голове.

Саша не пил бургундского, пил другое.

Он присмирел, сидел насторожась. Он стал послушен.

Так сидят два друга, и английские часы смотрят на них во весь циферблат.

Так они сидят до поры до времени.

Потом один из них замечает, что как бы чужой ветер вошел в комнату вместе с другим.

И манеры у него стали как будто другие, и голос глуше, и волосы на висках реже.

Он уже не гладит его по голове, он не знает, что с ним делать.

У него, собственно говоря, есть желание, в котором трудно сознаться, — чтобы другой поскорее уехал.

Тогда Грибоедов подошел к фортепьяно.

Он нажал педали и оттолкнулся от берега.

Вином и музыкой он сразу же отгородился от всех добрых людей. Прощайте, добрые люди, прощайте, умные люди!

Крылья дорожного экипажа, как пароходные крылья, роют воздух Азии. И дорога бьет песком и пометом в борт экипажа.

Ему стало тесно метанье по дорогам, тряска крови, тряска дорожного сердца.

Он хотел помириться с землей, оскорбленной его десятилетней бестолковой скачкой.

Но он не мог помириться с ней как первый встречный прохожий.

Его легкая коляска резала воздух.

У него были условия верные, как музыка. У него были намерения. Запечатанный пятью аккуратными печатями, рядом с Туркменчайским — чужим — миром лежал его проект.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Арабский конь быстро мчится
два перехода — и только. А верб-
люд тихо шествует день и ночь.

Саади. Гулистан

1

Появилась маленькая заметка в газете «Северная пчела», в номере от 14 марта:

Сего числа в третьем часу пополудни возведено жителям столицы пушечным выстрелом с Петропавловской крепости о заключении мира с Персией. Известие о сем и самый трактат привезен сюда сегодня, из главной квартиры действующей в Персии Российской Армии, ведомства Государственной Коллегии Иностранных Дел Коллежским Советником Грибоедовым.

С трех часов все перепугались.

Пушки Петропавловской крепости — орудийная газета Петербурга. Они издавна вздыхают каждый полдень и каждое наводнение. На миг в Петербурге все торопеют. В жизнь каждой комнаты и канцелярии вторгается пушечный выстрел. Краткий миг изумления кончается тем, что взрослые проверяют часы, а дети начинают бессознательно играть в солдатки.

Привычка эта так сильна, что, когда начинается наводнение, чиновники бросаются переводить часы.

Но с трех часов 14 марта 1828 года пушки вздыхали по-боевому. Был дан двести один выстрел.

Петропавловская крепость была тем местом, где лежали мертвые императоры и сидели живые бунтовщики.

Двести один, друг за другом, выстрел напоминал не торжество, а восстание.

Между тем все было необычайно просто и даже скучно.

Вечером коллежский советник прибыл в номера Демута.

Он потребовал три номера, соединяющиеся между собою и удобные. Он завалился спать и всю ночь проспал как убитый. Изредка его смущал рисунок обоев и мягкие туфли, шлепавшие по коридору. Чужая мебель необыкновенно громко рассыхалась. Он словно опустился в тяжелый мягкий диван, обступивший его тело со всех сторон, провалился сквозь дно, и нумерные шторы, казалось, пали на окна навсегда.

В десять часов он уже брился, надевал, как перед смертью или экзаменом, чистое белье, в двенадцать неся в Коллегию Иностранных Дел.

В большой зале его встретили чины. Сколько разнообразных рук он пожал, а взгляды у всех были такие, как будто в глубине зала, куда он поспешно проникал, готовилась неожиданная западня.

Все коллежские советники Петербурга были в этот день пьяны завистью, больны от нее, а ночью безотрадно и горячо молились в подушки.

Западни не было, его пропускали к самому Нессельроду.

И вот он стоял, Нессельрод, в глубине зала.

Карл-Роберт Нессельрод, серый лицом карлик, руководитель наружной российской политики.

Прямо, не сгибаясь, стоял коллежский советник в зеленом мундирном фраке перед кондотьером и наемником шепотов.

Наконец движением гимнаста, держащего на шее шест с другим гимнастом, он склонил голову.

— Имею честь явиться к вашему превосходительству.

Карлик высунул вперед женскую ручку, и белая ручка легла на другую, желтую цветом.

Коллежские советники смотрели.

Потом снова раздалось заклинание коллежского советника:

— Ваше превосходительство, имею честь вручить вам от имени его превосходительства главнокомандующего Туркменчайский Трактат.

Белая ручка легла на объемистый пакет с сургучами.

Серая головка зашевелилась, еврейский нос дунул, и немецкие губы сказали по-французски:

— Приветствую вас, господин секретарь, и вас, господа, со славным миром.

Карл-Роберт Нессельрод не говорил по-русски.

Он повернулся на каблучках и открыл перед Грибоедовым дверь в свой кабинет. Сезам открылся. По стенам висели темные изображения императоров в веселых рамах, и стол был пуст, как налож.

Взгляду, которому нельзя было зацепиться ни за книгу, ни за папку с делами, предоставлялось предаться на волю отвлеченного случая.

Тут его Нессельрод усадил.

— Перед тем как отправиться, господин Грибоедов, к императору, я хочу лично выразить вам свою глубокую признательность за ваше усердие и опытность.

Крест болтался у него на груди с трогательной беспомощностью и как бы приглашал дернуть и оборвать.

— Условия мира, в котором вы столь много нам помогли, для нас так выгодны, что с первого взгляда кажутся даже неосуществимыми.

Он улыбнулся печально и приятно, и эту улыбочку забыл на лице, серые глаза дребезжали по Грибоедову.

Тогда Грибоедов сделал каменное выражение. Не коллежский со-

ветник сидел перед министром, а сидели два авгура, которые торговались за знание. Нессельрод делал вид, что его знание выше.

— Превосходный, почетный мир, — сказал он со вздохом, — но...

Второй авгур не сбавлял цены со своего знания, даже не вытянул головы в знак внимания.

— ...ноне думаете ли вы, дорогой господин Грибоедов, — немного сбавил Нессельрод, — что, с одной стороны...

Решительно, ему не хотелось договаривать.

Тогда младший заговорил:

— Я полагаю, ваше превосходительство, что, с одной стороны, границы наши по Араксу, до самого Едидулукского брода, отныне явятся естественными границами. Нас будет охранять уже не единственно мудрость политики вашего превосходительства, но и река и горы.

— Да, да, — запечалился Нессельрод и вдруг слегка обиделся. Он перестал колебаться, и крестик остановился на груди, как пришитый. На его стороне было теперь молчание.

— С другой стороны, — сказал младший и остановился так, как будто кончил фразу. Он многому научился в Персии.

— С другой стороны, — сказал Нессельрод, как бы извиняя неопытность младшего и сожалея о ней, — сможете ли мы отвечать за исполнение столь блистательного мира во всех пунктах, принимая все-таки во внимание...

И ручка сделала жест.

Жест означал: — турецкую войну.

— Я надеюсь, ваше превосходительство, что турецкая кампания быстро окончится.

Старший беспомощно оглянулся: грек Родофиникин, раскоряка, заведовавший Азиатским департаментом, заболел лихорадкой. Между тем именно у него была любезная вульгарность тона, которая помогает в сношениях с младшими. Он бы тут улыбнулся, раскоряка, он бы свел разговор на какие-нибудь пустяки, и притом самого будничного свойства («какая халва в Персии! и хурме!»), и потом сразу же похлопал бы по плечу, конечно, в моральном смысле.

Нессельрод радостно улыбнулся и сказал:

— Да, я тоже надеюсь, вы, вероятно, знаете, что государь с небольшим кружком — *o! la bande des joyeux!*¹ — Нессельрод с каким-то отчаянным удалством взмахнул ручкой, — собирается сам на театр войны, как только ее объявим.

Война уже в действительности началась, но не была еще объявлена.

Младший ничего не знал о небольшом кружке и высоко поднял брови. Положительно, руководитель ощутил недостаток истинной наивности.

Он ведь не мог так, прямо сказать коллежскому советнику, что

¹ Веселая банда (франц.).

как раньше он хотел ускорить позорно затянувшуюся, безвыходную персидскую войну, так всеми силами он теперь должен будет стараться замедлить войну с Турцией.

Война была для него сумбур, неожиданность, бrounaha¹.

Она как-то всегда связывалась для него по воспоминаниям молодости с падением какого-то министерства. А теперь он сам был министр.

И вот он сидит, машет удалой ручкой, а между тем просто-напросто стоит уехать и выйти в отставку, пока не поздно.

Его старый приятель, граф де ла Фероней, которого недавно отозвали во Францию, писал ему каждую неделю из Парижа: французы беспокоятся, они недовольны, Европа соразмеряет русские силы со своими, и пусть уж он, Нессельрод, сговаривается с новым послом, а граф де ла Фероней советует: мир, мир во что бы то ни стало, любой, при первой удаче или неудаче.

Князь Ливен, посол в Лондоне, писал Нессельроду, что не выходит на улицу: дюк Веллингтон не желает с ним зняться, и только некоторые неудачи русских войск его умилоствуют.

А лорд Абердин начал странным образом симпатизировать Меттерниху. Это уже было не бrouhaha, а нечто похожее. Меттерних...

Но здесь открывалась старая рана — венский учитель отрекся от петербургского ученика, он ругал его на всех языках Дантоном и идиотом.

Карл Роберт Нессельрод должен был при всем том управлять, управлять, управлять.

Днем и ночью, не разгибая спины, радоваться.

И его не хватило.

Управление он сдал своей жене, себе оставил — радость. Это была трудная задача. Он знал, что в Петербурге его прозвали печеной рожей и один писака сочинил про него ужасный площадной пасквиль: что он *retueur*², а не министр Европы.

Карл Роберт Нессельрод, сын пруссака и еврейки родился на английском корабле, подплывавшем к Лиссабону.

Равновесие и параллельная дружба качались теперь как английский корабль, и это он, он, Карл Роберт Нессельрод, кричал, как его мать в тот момент, когда она рожала его на корабле.

Впрочем, его крик наружно выражался в другом: он улыбался.

Он хотел сбавить немного цены этому странному курьеру, нащупать, что он такое за человек, но вместо того, кажется, просто выразил недовольство миром и тем показал, что мир устроился без него, без Нессельрода. Этот молодой человек тоже, кажется, из этих... из умников. Впрочем, он родственник Паскевичу. Нессельрод обернул

¹ Ералаш (франц.).

² Вонючка (франц.).

ся к коллежскому советнику, представлявшему собою смесь русской неучтивости и азиатского коварства, и весело улыбнулся:

— Мы еще поговорим, дорогой господин Грибоедов. Теперь пора. Надо спешить. Ждет император.

2

Меня позвали в Главный Штаб
И потянули к Иисусу.

Грибоедов

В мягких штофных каретах сидело дипломатическое сословие. Нессельрод усадил Грибоедова рядом с собой. В карете было душно и неприятно, карлик забыл дома приятную улыбку. Он снова найдет ее во дворце. В карете же он сидит страшный, без всякого выражения на сером личике и в странном, почти шутовском наряде.

На нем мундир темно-зеленого сукна, с красным суконным воротником и с красными обшлагами. На воротнике, обшлагах, карманных клапанах, под ними, на полах, по швам и фалдам — золото. По борту на грудке вьются у него шитые брандebuры. На новеньких пуговицах сияют птичьи головки — государственный герб.

Когда же карлик кутает ноги, — переливает темно-зеленый шелк подкладки.

На нем придворный мундир. На шляпе его плюмаж.

Они катят во дворец.

Все было заранее известно, и все же оба волновались. Они вступали в царство абсолютного порядка, непреложных истин: был предуказан цвет подкладки и форма прически, была предустановлена гармония. Нессельрод с тревогой оглядел Грибоедова. Он помнил указ об усах, кои присвоены только военным, и о ношении бород в виде жидовских.

Коллежский советник, видимо, тоже знал указ и был причесан прилично.

Подкатили не к главным воротам дворца, а к боковым. Караульные солдаты вытянулись в струнку, и офицер отдал салют.

Как только карлик, а за ним Грибоедов выскочили из кареты, — вытянулось перед ними широкое, незнакомое лицо. Звание лица было: Придворный Скороход. Походкой гордой и мягкой, как бы всходя на амвон, Придворный Скороход повел их в тяжелую дверную пристройку и предводительствовал ими, идя все тем же задумчивым шагом по лестнице. На голове его развевались два громадных страусовых пера: черное и белое. У входа в апартаменты Скороход остановился, поклонился и, оставив прибывших, стал медленно сходить по лестнице. Так он по тройке начал вводить дипломатическое сословие.

Грибоедов был желт, как лимон.

Скороход и Гоф-Фурьер шествовали молча впереди. Оба были упитаны, чисто выбриты и спокойны.

Дипломаты были введены в Комнату Ожидания.

Здесь их встретил Чиновник Церемониальных Дел. Он присоединился к Скороходу и Гоф-Фурьеру.

Сначала впереди шли: Гоф-Фурьер и Скороход.

Потом: Чиновник Церемониальных Дел, Гоф-Фурьер и Скороход.

Церемониймейстер, Чиновник этих Дел, Гоф-Фурьер и Скороход.

Обер-Церемониймейстер, просто Церемониймейстер, Чиновник названных уже Дел, Гоф-Фурьер и Скороход.

Их встречали в каждой новой зале, присоединялись молчаливо и, не глядя друг на друга, шагали, кто по бокам, кто впереди — вероятно, по правилам.

Тихая детская игра, в которую играли расшитые золотом старички, разрасталась.

Как только присоединялся новый чин в каждом новом зале, Грибоедов испытывал детский страх: так терпеливо они поджидали их, так незаметно отделялись от пестрой стены и сосредоточенно соразмеряли свой шаг с остальными.

Это напоминало дурной сон. В Зале Аудиенции Обер-Церемониймейстер застрял, по правилам, перед дверью, а встретил их Гофмаршал и Обер-Гофмаршал.

Нессельрод быстро посапывал от моциона и удовольствия. Серое личико стало розовым — их встречали с необычайным почетом.

И вот известный лик, с подбирающим шею воротником, с тупе-ем, под которым ранняя лысина, с лосинами ног, почти съедобными, такой они были белизны. У него было розовое лицо.

Он сказал что-то и улыбнулся подбородком: большой подбородок осел книзу. Он взял у карлика из рук пакет и дернул головой и взглядом вбок, в сторону Обер-Гофмаршала. Старик в золоте засуетился, стоя на месте. Не сходя с места, он весь суетился, лицом и телом. Это был очень тревожный бег на месте.

Грибоедов догадался, в чем дело, когда ухнул первый выстрел.

Механизм был устроен так: нитка шла от известного лица через Гофмаршала к петропавловским пушкам. Лицо сделало жест, но пушка запоздала — и вот оно сердилось.

Так начали двухчасовой бой пушки.

Николай говорил с Нессельродом, держа его за брандесбург. Потом он перешел к Грибоедову и спросил:

— Как здоровье моего командира?

Наследником он служил под командой Паскевича и с тех пор называл его командиром и отцом-командиром.

— Я, помнится, года три тому назад встречал вас у него.

— У вашего величества превосходная память.

Пушки били, как часы.

Стоило трястись месяц в жар и холод, чтобы сказать плоский комплимент.

Карлик расцветал, как серая роза.

Он считал выстрелы.

Он знал, что с каждым выстрелом что-то меняется в его формуляре.

Вот он мало-помалу становится графом, вице-канцлером.

Вот аренды, ренты, имения.

— Поздравляю вас, господа!

Грибоедов знал заранее, с чем.

Орден святых Анны второй степени с алмазами был обещан ему Паскевичем. Он обеспокоился: неужели Паскевич забыл о деньгах — он просил четыре тысячи червонцев. Откуп от маменьки.

Карлик считал с просветленным лицом.

Он стоял золотого рыбкой в аквариуме.

Он как бы рос, выпрямлялся, тянулся, он уже не был более, как за час до того, просто Карл Роберт Нессельрод, он был вице-канцлер империи. Он попробует вытянуться еще и еще, и, может быть, он дотянется до... чего?

Будь у него жабры, он захопал бы ими.

Выстрелы.

Паскевич становился графом, Нессельрод — вице-канцлером.

Коллежский советник Грибоедов получал орден и червонцы.

Чеканились серебряные медали с надписью на лицевой стороне: «За персидскую войну», на обороте: «1826, 7 и 8».

Все уже были в дворцовой церкви, когда Нессельрод очнулся.

Он был английского исповедания, сын католика и протестантки, и привык молиться в православной церкви.

Пальба прекратилась. Город гудел от колокольного звона. Трезвон был не московский, не утробный и вздыхательный, а другой, пустой и звонкий, залихватский, как цоканье кавалерийских копыт.

Было молчаливое соглашение.

Под кораблем, что когда-то подплывал к Лиссабону, ходили подводные течения. Они ходили под дипломатическим сословием и знатными особами обоего пола.

Никто не знал, куда идет корабль, меньше всех — руководитель наружной российской политики.

Но все чувствовали, что от цвета мундиров зависит направление умов. Все знали, что воротник коллежского советника должен быть черный, бархатный. Иначе нити потеряют осязаемость, поплывут из рук, станут неуловимы. Корабль завертится, повторится декабрь, начнется вертиж.

Было молчаливое соглашение между известным лицом, карликом и русским Богом.

В дворцовой церкви, похожей на детскую рождественскую елку, принял от коллежского советника рапорт в последний раз Бог. Известное лицо приняло рапорт от Бога и улыбнулось.

3

Он физически устал от дворца более, нежели от скачки, и, когда ринулся к себе в номера, стал обнимать всех без разбора, единственно чтоб размять руки. Сколько их было в номерах! Все старые друзья. Он успокоился, только обняв по ошибке Сашку, который вертелся под ногами, и рассмеялся.

— Что ты под ногами путаешься!

Осмотрел всех, как слишком расшалившийся именинник, но на нем уже повис Булгарин.

Фаддей облысел, обнаглел. Крупная слеза повисла у него на красных веках. Он все хохотал, смотрел на Грибоедова как потерянный и переводил взгляд с него на других, с других на него.

Грибоедов сел, беспечный и молодой.

Вот их сколько к нему привалило, старых друзей. Потом он заметил, что в номерах было много и незнакомых. Это ему не понравилось. Он, кажется, был смешон.

И уже тащили его в театр, приглашали, напоминали все сразу о старой приязни, и кто-то боялся, что Грибоедов не узнал его, и прибыл лакей от Нессельрода с приглашением на бал.

Он оставил всех в первой комнате и прошел во вторую, спальную. Третья была кабинетом.

Так останавливались у Демута восточные послы и курьеры.

За ним вполз Фаддей.

— Каково, Фаддей, ветошничаешь, с кем в войне?

Грибоедов переодевался, лил на голову ледяную воду и фыр-кал.

Фаддей смотрел на все это как на обряд. В переодевании чувствовал он конец дворцовой церемонии.

Грибоедов скинул белье, отяжелевшее от дворцового пота, как мундир.

— Ты загорел, ты потолстел, — говорил любовно Фаддей и гладил его желтоватую руку.

Сашка ходил с утиральником вокруг Грибоедова.

Между мыльной водой и одеколоном Грибоедов узнал, что Леночка Булгарина здорова, вспоминает его и будет сегодня в театре, что умер старик Корнеев, тайный советник, и жена его тотчас стала хлопотать о втором браке — «скандал, братец, совершеннейший скан-

дал», — что пошли новые моды на балах — узкие панталоны, в журналах все то же — все ждут его.

Грибоедов на него брызгал водой, и Фаддей говорил:

— Ну свинья, братец, решительно мальчик. Помолодел.

4

Умытый, затянутый, в свежем белье и податливых воротниках, скинув тысячу лет, он вошел в знакомый зал.

В Большом театре был парадный спектакль.

Его черный фрак прорезал толпу, как лодка воду.

Он не был здесь два года, и все изменилось. Зал был заново выкрашен, плафон был лазурного цвета, какая-то лепка отягощала его. Музыка полоскала бравуры Буальдьё и мешала оглядеться.

Он же любил строгую пустыню старого театра, где сцена была эшафотом, ложи — судьями, партер — толпой, театральные машины — гильотиной.

Резкий воздух театральных сплетен был его дипломатической школой, споры с полицеймейстером — войной, ласки актрис за кулисами — тюремными свиданиями любовников.

Где Катенин, где Шаховской, его враг Якубович?

Где Пушкин, по обязанности острящий в первых рядах и вносящий в театр грубый дух парижской улицы?

Но Пушкин подошел к нему и просто протянул руку.

— Рад вас видеть! — закричал он сквозь Буальдьё. — Завидую вам. Вы скачете по Персии, а мы по журналам.

Баки его подходили под класс «вроде жидовских». Какая-то новая независимость обращения была в нем.

— И так же надоело? — спросил Грибоедов.

Он колебался. «Горе» его лежало ненапечатанное, непредставленное, под спудом, он писал теперь другую пьесу. Быть комическим автором одной пьесы — в этом было что-то двусмысленное. Он тогда писал для театра, теперь он будет поэт. С Пушкиным должно было быть осторожным. Он смущал его, как чужой породы человек.

— Вяземский зовет теперь Аббаса-Мирзу Аббатом Мирзой, — сказал Пушкин. — Завидую вам. Давайте меняться.

Было чем меняться.

Оба увидели, что окружены.

Толпа следила за ними. Бакенбарды не лежали уже, как в его предыдущий приезд, по лицам до подбородков, но сходили прямой линией под галстук, ровно подбритые углом. Все были в узких панталонах, шеголи — в обтяжку. Искусственные букеты лежали у дам тоже выше, прямо на чашке плеча. Плечи и руки стали голее, юбки выше. Глаза под веерами скользили по ним обоим, и бакенбарды шевелились от реплик.

Дамы удивительно обнаглели: подходили, смотрели в упор и шли прочь со смехом.

Выходило, что они до балета давали бесплатное представление. Пушкин взглянул на брегет. К дамам он, видимо, по привычке.

— Из-за государя опоздают, как водится, — сказал он, — я не люблю этого обыкновения, оно отзывается ожиданием в канцелярии и нравами Александра Павловича... Это было объяснением.

— Государь честен, бодр, — говорил Пушкин уныло и бродил глазами по лицам и плечам, — прям, того и гляди каторжников вернет. Я, кажется, с ним помирился, — сказал он и посмотрел вопросительно на Грибоедова, — но я не люблю, когда меня заставляют ждать.

— Ну, а он с вами? — улыбнулся Грибоедов.

Пушкин пожал плечами.

— Я из зависти к вам начинаю писать историю кавказских войн, — сказал он потом, — и уже писал Ермолову. К вам боюсь и подступиться.

Прямо на них шел, волоча за локоть Леночку, Булгарин. Вдруг Пушкин быстро пожал руку Грибоедову и сказал скороговоркой:

— Мы встретимся. Я рад. Нас немного, да и тех нет.

Заглушенный бравуром, он хотел скрыться. Но Булгарин, оставив на произвол судьбы и Леночку и Грибоедова, метнулся к Пушкину, радостно захопотал, потом на глазах у всех взял его под руку, ровным шагом повел в угол, непрестанно убеждая, запустил руку в боковой карман и подал какой-то листок.

Леночке Грибоедов поцеловал руку с чувством, и она застыдилась. Фаддей, который так же быстро бросил Пушкина, как давеча Леночку, хрипел и ловко отгеснял от него коллежских советников. Он смотрел на Грибоедова как на собственность и печалился, что у них кресла не рядом.

Служители притушили огни, открылся балет.

Он почувствовал особую легкость всего тела, мускулы собрались. Он стал легче обычного, исчез вес. Немного наклонившись очками вперед, он посмотрел на сцену и откинулся в креслах. Потом огляделся. Лошяные человеческие лысины, белые и розовые плечи тревожили его.

Он был опять молод, ему хотелось смеяться.

Полутемная пустота, шевелившаяся и перекликавшаяся кашлем, была его молодостью. Здесь он находил самого себя: тревога, шедшая из тела, здесь была общим законом, — все тревожились, все кого-то искали глазами и ощущали смятение. Женщины в последний раз поводили головами перед невидимым зеркалом, мужчины снимали пылинки с фраков.

Он владел всеми, возвышался над ними.

Переговоры с Аббасом, угодничество перед Паскевичем, дворцо-

вый сегодняшний парад — были подготовкой, условием для того, чтобы здесь владеть толпой.

Играли Генделев гимн «God, save the king»¹. Толпа шарахнулась и смиренно встала.

С гордостью он взглянул в сторону императорской ложи.

С кем тягаться?

Он понял сегодня двусмысленное существование Николая. Император был неполный человек. Холод его взгляда был необычаен. От солдатского сукна шел запах пудры, белые лосины были сладкого, вяжущего цвета. Пушкин писал ему стансы, Николай покорял его, потому что Пушкин был человек другой породы.

Грибоедов выгнулся к императорской ложе и прищурил глаз. Он перехитрит его.

Были рукоплескания, требовали повторения гимна — российского, национального, того самого, что сочинил немец для английского короля.

Во втором ряду у прохода — об этом никто не знал — сидело озорство в черном чопорном фраке. Он взгляделся в упор. Прямо перед ним благолепная, голая, как младенец, была лысина сановника.

Лысины внушали ему страх. В оголенных человеческих головах были беспомощность и бесстыдство. Он ненавидел лысых и курносых.

Он вспомнил, как когда-то громко хлопал один плешивец дурной актрисе, а он сидел сзади, как ему это надоело и как он спокойно хлопнул по лысине. Он был молод и дерзок тогда, полицеймейстер опешил, и он получил странный выговор:

— Что уж это за аплодисман, господа, по лысинам.

Этим он тогда и отделался. С улыбкой он смотрел на теперешнюю лысину.

Вдруг взвился занавес, и человек с лысиной крикнул:

— Браво!

Тогда, все с той же радостной улыбкой, он спокойно протянул узкую руку и тихо шлепнул по лысине.

Откачнулся.

На него выкатились человеческие глаза, голубые, старые, бешеные. Они столкнулись с недвижным взглядом, обращенным на сцену, знаменитыми очками и высоко поднятой знаменитой головой.

Человек задыхался. Он прынул и недоумевал.

Он поерзал на месте и еще раз тревожно и подозрительно посмотрел на Грибоедова. Потом пригладил голову и поглядел в сторону лож.

¹ До 1833 года не было так называемого национального гимна. Исполнялся вместо того английский. («Боже, храни короля». — *Ред.*)

ПУШКИН

Часть первая

ДЕТСТВО

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Майор был скуп. Вздохнув, он заперся у себя в комнате и тайком пересчитал деньги.

Вспомнив, что еще в гвардии остался ему должен товарищ сто двадцать рублей, он огорчился. Шикнув на запевшую не вовремя канарейку, переоделся, покрасовался перед зеркалом, обдернулся, взял трость и, выбежав в сени, сухо сказал казачку:

— Собирайся. Да надень что-нибудь почище.

Потом, засеменив к боковой двери, приоткрыл ее и сказал нежно:

— Я пойду, душа моя.

Ответа не было. На цыпочках пройдя к выходу, майор тихонько открыл дверь, стараясь, чтоб не скрипела. Казачок шел за ним с баулом.

Дом стоял во дворе, за домом был сад с цветником, липой и песчаными дорожками. Казачку было велено гнать оттуда соседских кур.

Дворовый пес, заслышав шаги, пророптал во сне. Майор юркнул в калитку. Шел он довольно свободно, но было видно, что опасается, как бы не окликнули.

Он пошел по улице. Немецкая улица, где он жил, была скучна: длинный, серебристый от многолетних дождей забор, слепой образок на воротах и — грязь. Дождя давно не было, а грязь все лежала — комьями, обломками, колеями. Шли какие-то немцы-мастеровые, баба несла гуся. Он не взглянул на них. Переулками он вышел к Разгуляю — местности, получившей свое название от славного кабака. Здесь он стал нанимать дрожки, торгуясь с извозчиком, причем лицо его сделалось необыкновенно черствым; извозчика нанял до Покровских Ворот. Кляча потрухивала, а сзади бежал казачок с баулом. У Покровских Ворот майор слез и вышел на бульвар.

Выйдя на бульвар, он преобразился.

В голубом галстуке, под цвет глаз, опираясь на легкую трость, он косил по сторонам и шел медленно, обмахиваясь шелковым платком, как бы ловя полуоткрытым ртом прохладу бульвара. Вскоре он купил у девочки сельский букет. Был июль месяц, и солнце пекло. Казачок шел за ним на большом расстоянии.

Так он прошел до Мясницких Ворот и добрался до Охотного ряда. Шел он беззаботно, слегка подпрыгивая и беспрестанно озираясь на проходящих женщин. Казачок, отирая пот рукавом, брел за ним. Он спустился в винный погреб. Несмотря на ранний час, здесь уже были два знатока, спорившие о достоинствах бургонского и лафита. Он долго выбирал вино, стараясь выбрать лучше и дешевле. Выбрав три бутылки, одну Сен-Пере и две лафита, он небрежно уплатил и, указав на вино казачку, сказал нежно и так, чтоб слышали окружающие:

— Да ты адрес, дурачок, помнишь? Ну, конечно, не помнишь. Повтори же: рядом с домом графини Головкиной, дом гвардии майора Пуш-ки-на. Там тебе всякий скажет. Нет, ты, дурак, не запомнишь. Я уж запишу, ты у бутюшника спроси.

И с легким смехом записал.

Казачок бесчувственно смотрел на него и сунул записку в дырявый карман.

2

Гвардии майор, или, вернее — капитан-поручик, уже год как был в отставке и служил в кригс-комиссариате, так что и форма его была совсем не гвардейская, но он все еще называл себя: гвардии майор Пушкин. Время стояло «хладное», и «дул борей» или «норд» для хороших фамилий, как говорили для того, чтобы не упоминать имени императора Павла.

Поэтому, называя себя гвардейцем, в кригс-комиссариатском сертуке, майор как бы намекал на причины отставки и временность ее. На деле он должен был выйти в отставку, так же как и брат его Василий Львович, потому что для гвардейской жизни не хватало средств, а кригс-комиссариат давал жалованье.

У него вместе с матерью, братом и сестрами были земли в Нижегородском краю. Село Болдино было настоящая боярская вотчина, три тысячи душ, да беда была в том, что в несчастном разделе, девять лет назад, принял участие и единокровный сын отца от первого брака и оттягал большую часть земли и душ себе и своей матери.

В душе своей Сергей Львович навсегда сохранил с этого времени опасливость по отношению к родне, а единокровного брата изгладил из памяти.

В вотчине Сергей Львович никогда не бывал и болезненно морщился, когда матушка намекала, — не без яду, — что не мешало бы, дескать, заглянуть. Знал, что числится тысяча душ, никак не меньше, что есть там в селе мельница на речке, от казны поставлен питейный дом, а кругом густой лес. А что там в лесу, неясно себе представлял, — ягоды, волки. Получая доходы, всегда им радовался, как кладу или находке, и мгновенно чувствовал себя богачом. Когда же деньги задерживались, начинал смутно беспокоиться и тосковать. Гвардейское хозяйство было сквозное, и карманы дырявые.

Между тем, как гвардеец и человек молодой и чувствительный, притом, как говорили о нем барышни, *бель-эспри*¹ Сергей Львович имел постоянный успех.

Он так тонко объяснялся по-французски, что невольно присвистывал и гнусавил, говоря по-русски. Зная все новые французские романы, он питал интерес и к отечественной словесности. Его удовлетворяла литературская вольность и общезнательность. Где можно было отдохнуть сердцем? — Среди литераторов. Сергей Львович отдыхал среди них и никогда не пропускал случая посетить Николая Михайловича Карамзина, пророка всего изящного. Нынче он несколько перегорел, охладился, стал более существенен, но был всегда снисходителен и любезен, мудр. Для Сергея Львовича он был как бы путеводной звездой. Он жил по-прежнему в доме Плещеева, по Тверской.

Два с половиною года назад Сергей Львович женился. Жена его была существо необыкновенное. Петербургские гвардейцы звали ее «прекрасная креолка» и «прекрасная африканка», а ее люди, которым она досаждала своими капризами, звали ее за глаза арапкою.

Она была внучкою арапа, генерал-аншефа, а ранее друга и камердинера Петра Великого, известного Абрама Петровича. Злодей отец бросил ее с матерью в самых ранних летах, и она росла как бы сиротою. В судьбе ее, впрочем, приняли участие ее дядья, генерал-цейхмейстер Аннибал, владевший прекрасным имением Суйдой, да генерал-майор Аннибал, живший в Псковском округе. Братья Пушкины, случалось, гащивали у генерал-цейхмейстера, а брат Василий Львович, занимавшийся стихотворством, даже воспел Суйду и ее хозяина. Да и отец их, арап, тоже не был камердинером, а скорее всего другом императора Петра, а если и был, то все же имел чин генерал-аншефа. Аннибал было гордое имя. Кроме того, Надежда Осиповна была очень хороша. Влюбившись без памяти, Сергей Львович приволокнунулся по всем правилам хорошего круга и вовсе не рассчитывал жениться. Однако очень скоро просил руки, все еще не думая, что женится, и неожиданно получил согласие красавицы.

Несмотря на запутанные семейные обстоятельства, она принесла майору небольшое селцо в Псковской губернии; дано было также понять, что после смерти отца она получит изрядное село по соседству. Отец же ее, хотя и не был злодей в собственном смысле, но был человек крайнего легкомыслия — он женился от живой жены на одной псковской прелестнице тогдашних времен, уловившей его и обобравшей до нитки; притом не только его, но и семью и даже брата. Мотовство его было удивительное, он был враг денег и точно все время летел вниз по откосу, не имея времени остановиться. Когда появлялись деньги, он тотчас на них покупал золотые и серебряные сервизы для прелестницы. Дело о двух женах, из которых каждая

¹ Остроумный (*франц.*).

считала его и другую жену злодеями, заняло большую часть его жизни; тяжба со второю тянулась и теперь. Старая прелестница то съезжалась с Осипом Абрамовичем, то уезжала от него и в обоих случаях требовала денег. Теперь он жил, проводя, по слухам, дни в удивительных для старика непотребствах, в своем селе Михайловском. Рядом же с Михайловским было сельцо Кобрино, приданое молодой африканки.

Императрица Екатерина скончалась. Гвардейские шалости притихли. У молодых родилась дочь Ольга. Из Петербурга приехала гостить, матушка Марья Алексеевна. Сергей Львович, увидя себя женатым, вышел в отставку. Ему было двадцать девять лет. Семейный дом рисовался Сергею Львовичу так: увитый плющом, с белыми колоннами (пускай деревянными). И это было первое его смутное недовольство жизнью, — он, оказалось, мало смыслил в выборе и устройстве своего дома и счастья. Дом был наемный, случайный, и житье сразу же пошло временное. Ни усадьба, ни Москва, окраина, — и не дом, а флигель, который построили на живую нитку английские купцы, под контору. Нынешний государь был крутого нрава, англичан не любил, — они дом продали чиновнику и уехали. Сергей Львович ненавидел всякие хлопоты. Он сразу снял дом, благо был дешев.

От холостого житья осталась клетка с попугаем да другая с канарейкой, но образ жизни круто переменялся. Месяц тому назад у него родился сын, которого он назвал в память своего деда Александром.

Теперь, после крестин, собирался он устроить «куртаг»¹, как говорили гвардейцы, — скромную встречу с милыми сердцу, как сказал бы он сейчас.

3

Марья Алексеевна с утра была в хлопотах. Готовясь встретить гостей и зятюву родню, она беспокоилась, как бы в чем не оплошать. Люди были столичные, новомодные, а у ней нет этой тонкости в обращении. Зал убирали, терли мелом фамильные подсвечники, выметали сор из сеней. И сору было много.

В глубине души она считала основательным местом и вообще основным местом своей жизни город Липецк, невдалеке, от которого была усадьба ее отца и в котором она жила барышнею. Город был чистый, главные улицы обсажены дубками и липами. Груш и вишен — горы. Девки в безрукавках, расшитых сорочках. А липы как раз в такую пору цвели; от них шел густой приятный дух. Приезжали летом самые лучшие люди, самые нарядные, сановные, из столиц — купаться в липецких грязях. На чугунные заводы посылали самых лучших и тонких офицеров из столицы с поручениями по артилле-

¹ Прием (нем.).

рии. И когда она выходила замуж, ей все завидовали, хоть и притворялись, что равнодушны, и даже посмеивались, что идет за арапа. Был по морской артиллерии, любезен до пределов, весь как на пружинах, страстен и на все готов для невесты. А оказался злодей.

Будучи нагло покинутой с малолеткой-дочерью на руках, без всякого пропитания, поехала она в деревню к родителям; но родитель был уже стар, арап, вторгшийся в семью, омрачил его жизнь, и он от паралича скончался. Так арап стал двойным злодеем.

После смерти отца Марья Алексеевна жила со своей матерью и маленькой дочерью в лютой бедности. Иной раз в доме не было черствого хлеба. Дворня бегала от них, боясь умереть голодной смертью.

И Марья Алексеевна, которой пришлось потом, ни вдовой, ни мужней женой, жить с дочкой и в деревне Суйде под Петербургом, на хлебах у свекра-арапа, и в Петербурге, и теперь в Москве, считала все эти места не постоянными и не основательными, не обживала их. Она привыкла пустодомничать. У свекра-арапа жила она в Суйде на антресолях. В Петербурге у нее был собственный домик в Преображенском полку. Потом она этот дом продала и переехала с Надеждою в Измайловский полк. Ее братья были офицеры, муж — хоть и злодей — морской артиллерист, и она чувствовала себя военною дамою. Житье было походное: зорю бьют — вставать, горнист — к обеде. Мимо окон бряцали сабли, позванивали шпоры. Они с дочерью поздно вставали и садились у окошек смотреть на прохожих.

Надежда подросла. Там, в Измайловском полку, к ней и посватался свойственник, гвардеец, капитан-поручик. Марья Алексеевна была урожденная Пушкина, и Сергей Львович приводился ей троюродным братом. По справкам оказался человек состоятельный. Предложение, разумеется, принято. Молодые переехали в Москву, она теперь гостила у них — для порядка, и опять попала она на антресоли, как когда-то у свекра-арапа, только теперь с внучкой Ольгой.

Людей Марья Алексеевна перевидала много, привыкла улещать и одергивать чиновников, с которыми приходилось возиться по тяжбе с преступным мужем-двоеженцем, ценить людей, дающих приют и ласку, и опасалась, чтобы не осудили и не сочли бедной. Теперь пошла мода на образованность, на бледный цвет, все изменилось.

А Липецк как был, так, говорят, и стоит.

У ней на руках было теперь все зятево хозяйство, небольшое, но трудное. Дворня не велика, но распушена и отбилась от рук. Повар Николашка — пьяница и злодей. Все люди ленивые, как мухи, руки, как плети. И все врут. Счастье еще, что привезла с собой кой-кого из двора — испытанную мамку и няню Иришку. Доходы поступали, против ожидания, в эти годы туго. Марья Алексеевна не скрывала своего разочарования: решительно невозможно было понять, богат или беден Сергей Львович. Тысяча душ — легко сказать! А сахару в доме нет, и в лавочку задолжали. Все лежало на ней одной, Сергею

Львовичу только бы юркнуть из дому. А Надеждины порядки ей не нравились, и она не доверяла ее уменью устроить жизнь. Марья Алексеевна не раз подмечала в дочери не свои черты; она и лицом пошла в отца, в арапа; и ладони у нее темные, желтые. И какой-то нездешний, не липецкий холод: равнодушие и леность, по целым дням ходит в затрапезе, кусает ногти, а потом — вдруг, как муха укусит, все вверх дном. Мебели переставлять, людей учить, картины вешать, тарелки бить.

А Липецк как стоял, так, говорят, и стоит.

— Аришка, на кухню сбегай! Николашка поросенка зажарил ли? Шампань-то в лед, дура!

4

Первыми приехали свои, Пушкины. Прибыли сестрица Лизанька с мужем да сестрица Аннет. Марья Алексеевна их не любила и не могла долго усидеть, когда сестры болтали. Лизанька была пуста, по ее мнению. Выбрала мужа много моложе себя; Марья Алексеевна делала невольное сравнение между Сонцевым и Сергеем Львовичем, и Сонцев оказывался лучше. Он был толстоват, добрее и спокойнее, чем их майор, — не бегает со двора. Не франтоват, да мил — ходит завитой, как барашек. Действительно, Матвей Михайлович Сонцев был завит по последней моде — а ля Каракалла. Аннету же, Анну Львовну, Марья Алексеевна не любила за фальшь. Анне Львовне было уже тридцать лет (далеко за тридцать — говорила Марья Алексеевна), а она все еще ждала женихов, прихорашивалась и говорила томно, нараспев. К Сергею Львовичу она относилась восторженно, заботилась о его бледности и умоляла беречь себя. Надежде же Осиповне возила сувениры, по мнению Марьи Алексеевны безделки и ничего боле. Пырьшки и пряжечки.

В последнее время Анна Львовна как будто дождалась: недавно Сергей Львович сообщил, что Иван Иванович Дмитриев, человек на виду, петербургский поэт и действительный статский советник, сватался к Анне Львовне. Марья Алексеевна поздравила, но втайне не поверила. Когда бывали сестры, она часто выходила по хозяйству, а на деле для того, чтобы перевести дух.

— Вздоры, — говорила она негромко и возвращалась.

Василий Львович с женою приехали в отличной, лакированной, звонкой, как колокол, коляске. И Марья Алексеевна оживилась. Она любила эту пару. Василий Львович, быстрый в движениях, всегда готовый к разговору и веселости, — эфемер, — явился на этот раз во всем великолепии; прическа а ля Дюрок и, несмотря на суровое время, довольно толстое жабо. Впрочем, это свое жабо он скрывал под плащом. Кстати, плащ скрывал и фигуру, — Василий Львович очень знал, что он кособрюх и тонконог. А рядом сидела женщина, которую он тщеславился более, чем своим титулом поэта, своею родослов-

ного, коляскою, — неотразимое существо, его жена Капитолина Михайловна. Они ехали, вызывая всеобщее внимание.

Чувствуя его, Василий Львович до самого конца Басманной имел загадочный и равнодушный вид. И только когда дома стали хуже и заметных людей меньше, он позволил себе несколько раз оглянуться по сторонам и увидел, что внимание относится всецело к его жене и несколько не к нему.

— *Mon ange*¹, *mon ange*, — пролепетал он с огорчением, но тут же и восхищаясь, — покройте плечи, ветрено...

И сам накинул шаль на эти плечи.

Встречаясь с Капитолиной Михайловной, Марья Алексеевна всегда улыбалась, щурила глаза, как делали в Петербурге тридцать лет назад, когда хотели выказать расположение.

О Капитолине Михайловне говорили разное, и в гвардии ее звали «Цырцея», но, считая всех мужчин злодеями или готовыми на злодейство, Марья Алексеевна не осуждала женской ветрености. «Молодо — зелено, погулять велено», — говорила она и победно поджимала губы.

Гостей Марья Алексеевна и Сергей Львович встречали в зале.

— Надежда сейчас выйдет, — сказала Марья Алексеевна, и сестрицы обиделись. У одной в руках были сувениры. Братья стали друг другу рассказывать вполголоса одну и ту же историю: мадама Шню, содержательница известного кофейного дома, славная своим безобразием, на прошлой неделе окривела на правый глаз. Неелов написал на нее экспромт.

Экспромт был смешной, не для дам. Они повысили голоса. В Марфине у графа Салтыкова на прошлой неделе Николай Михайлович пел в своем водевиле, в интермедии, в прологе, в пьесе своей собственной — прекрасно, — граф его во всем слушался, накануне велел декорации менять по одному слову. Материя, впрочем, довольно обыкновенная: сельская любовь, ривалите², и из армии приезжает добрый муж, сам граф, — все захлопали, когда он вышел, — и соединяет любовников. Но как все выражено! Стихи, напев! В Петербурге уже известно. Танцы в легких нарядах исполнили девки неопишимо. Десять тысяч обошлось. Первый из братьев с нетерпением ждал, когда другой замолчит, и как бы помогал ему скорее кончить, подражая движению губ говорящего.

Сергей Львович заметно мешал Василию Львовичу, лично бывшему в Марфине и поэтому гораздо лучше знавшему все подробности спектакля. Василий Львович хотел сказать о названии, которое Николай Михайлович дал пьесе, но Сергей Львович его перебил. Название было: «Только для Марфина». Василий Львович кивал досад-

¹ Мой ангел (*франц.*).

² Соперничество (*франц.*).

ливо Сергею Львовичу, а потом осмотрелся кругом и увидел, что все свои. Он зевнул.

Вошла плавно Надежда Осиповна, поцеловалась с женщинами. В руках она мяла платочек; ладони и пальцы были у нее в «родимых пятнах», желты, как опаленные, — след африканского деда.

Она улыбнулась Василию Львовичу. И от этой улыбки все изменилось.

И Василий Львович, стихотворец, закосил: взглядом знатока он перебежал с белых плеч своей Цырцей на смуглые — невестки.

Он все хотел сказать комплимент и, наконец, сказал его. В стихах своих он стремился к логике и поэтому избегал картин природы; главное достоинство свое он полагал в шутливости. Но как только видел прекрасных — таял и вспоминал чьи-то стихи, безыменные мадригалы, отрывки, может быть даже свои собственные. И в стихах и в жизни он был эфемер.

Между тем люди накрывали стол в саду, под липою, довольно тощей.

Ждали двух важных гостей: Николая Михайловича Карамзина и француза Монфора. Монфор, или граф Монфор, как он себя называл, был еще молод и всегда весел, живописец и музыкант; происходил из города Бордо и прибыл в Москву недавно, официально числясь при свите герцога Бордоского, который жил с братом казенного французского короля, Людовиком, в Митаве. Изгнанные из Парижа и Франции, они жили в России, пользуясь гостеприимством императора Павла или, как говорили военные, — «на хлебах».

Как только вошел француз своей прыгающей походкой, с насмешливым взглядом, обе сестры взбили локоны и улыбнулись. Анна Львовна улыбалась по-новому: полузакрыв глаза и шевеля губами, точно шептала что-то или жевала сладости. Потом она сказала Марье Алексеевне, что ужасно как дичится этих французов, потому что с ними опасно связываться, тотчас попадешь в лабетки¹. Марье Алексеевне ее улыбка показала неприличной. Она вышла за дверь, сказала сердито и негромко:

— Хаханьки! — и вернулась.

Николай Михайлович Карамзин был грустен и одет просто.

— Как щеголять сейчас не в милости, — сказал он тихо, — я к вам запросто.

Как только Николай Михайлович прибыл, все парами прошли в сад. Сергей Львович вдруг скрылся; он вернулся к себе в кабинет, отпер шкатулку; не считая, достал последнюю пачку ассигнаций и кликнул камердинера Никиту.

— Никишка, — сказал он торопливо, — вина мало, беги в трактир, какой знаешь, и купи одну-две-три бутылки бордоского, бургонского, что найдется. Живо! Да сертук не замарай.

¹ В дурочки (*франц.*).

Он заботливо обдернул кружевные манжетки на Никите. Камердинер Никита был одет в нарядный синий сертук.

— Балладу не забыл? Всю помнишь?

— Помню-с, — ответил камердинер Никита, — своего, чай, сочинения, не чужого.

Камердинер Никита был сочинитель; недавно Сергей Львович обнаружил, что Никита написал длинную стихотворную повесть. Прическа и новый сертук не шли к нему. Он был среднего роста, рябоват, белокур. Спокойствие его было поразительно. Сегодня Сергей Львович приготовился блеснуть Никитою. Никишкина стихотворная повесть о Соловье-разбойнике и Еруслане Лазаревиче была забавна. Сергей Львович назвал ее балладой и беспокоился, не позабыл ли Никита текст.

5

Все было предусмотрено, и можно было наслаждаться уютом и приятно беседую. Под липою, в саду, всем оставалось чувствовать и вести себя со всею свободой, как в сельском уединении.

Сад был мал, и в этом было его достоинство. Огромность противоречила простоте, а правильные сады более не действовали на воображение. Сельский букет стоял на круглом столе. Лет десять назад такой букет не поставили бы на стол.

Время было тревожное и неверное. Каждый стремился теперь к деревенской тишине и тесному кругу, потому что в широком кругу некому было довериться. Огород, всегда свежий редис, козы, стакан густых желтых сливок, благовонная малина, простые гроздья рябины и омытые дождем сельские виды, — все вдруг вспомнили это, как утраченное детство, и как бы впервые открыв существование природы. Даже участь мещанина или цехового вдруг показалась счастливой. Свой лоскут земли, плодовый при доме садик, на окошке в бурачке розовый бальзамин, — как старые поэты не замечали прелести такого существования! Они пристрастились к войне, пожарам природы и всеобщему землетрясению. А эти домики походили на чистые клетки певчих птиц. Но ведь таково счастье человека.

Бледный цвет входил в моду, и в женских нарядах получили большую силу нежные переливы, потому что грубые краски напоминали все, от чего каждый рад был сторониться. Даже роскошь постыла всем. Все увидели на опыте ее бренность. Удовольствие доставляла только печаль. И уголок в саду летом, как угол перед камином зимою, был для всех приятным местом, вполне заменявшим в воображении свет. Были в ходу *jeux de société*¹ — игры, которые разнообразили время. Играли в шарады, буриме, акростихи, что даже развива-

¹ Светские игры (*франц.*).

ло стихотворные таланты. О придворных делах говорили тихо, а о своих только со вздохом.

Сергею Львовичу почудилось, однако, что позабыли что-то приготовить, купить, на Марью Алексеевну нельзя было положиться, на Nadine надежды плохи. И он так занялся этими мыслями, что не заметил, что серебро и вправду было не чищено, а из двух графинов поставлен надтреснутый.

Но Надежда Осиповна всем улыбалась и ровно показывала в улыбке белые зубы.

Он успокоился.

«...И ряд зубов жемчужный», — подумал чьими-то стихами Василий Львович, — у Капы мельче, а у девки, у Аннушки, всех лучше».

Василий Львович разговаривал с французом. Свобода обращения, готовность ко всему и быстрая речь; при этом — полное снисхождение к женскому полу, — он все это брюхом чувствовал, все это было для него родственное, свое. Лет двадцать назад было много французов и в Москве и в Петербурге, но что это были за французы! Хозяйки модных лавок, камердинеры да les outchiteli. Некоторые из них были забавны. Теперь же, благодаря перевороту, прибыли, спасаясь, люди настоящего благородства, а как они были в нужде и стесненных обстоятельствах, то за семь лет к ним привыкли и не очень чинились. Даже принцев крови можно было в конце концов залучить на обед. Теперь шла война с санкюлотами, и они опять вошли в моду.

А впрочем, камзол у графа был довольно затрепан, граф обносился, и дела его были запутаны. Царь в последнее время стал скупиться и упрячиться, да и у свиты, да и у самого короля не было денег. Граф собственно собирался, для развлечения от скуки, давать уроки французского языка, а если придется — живописи или, пожалуй, музыки. Сергей Львович, по некоторым признакам, заключил, что граф будет просить займы, и заранее мысленно перед ним извинился отсутствием денег.

Главным лицом был, разумеется, не граф. Николай Михайлович Карамзин был старше всех собравшихся. Ему было тридцать четыре года — возраст угасания.

Время нравиться прошло,
А пленяться, не пленяя,
И пылать, не воспаяя,
Есть дурное ремесло.

Морщин еще не было, но на лице, удлинённом, белом, появился у него холод. Несмотря на шутиливость, несмотря на ласковость к «щекотуньям», как называл он молоденьких, — видно было, что он многое изведal. Мир разрушался; везде в России — уродства, горшье порою, чем французское злодейство. Полно мечтать о счастье человечества! Сердце его было разбито прекрасной женщиной, другом которой он был. После путешествия в Европу он стал холоднее к друзь-

ям. «Письма русского путешественника» стали законом для образованных речей и сердец. Женщины над ними плакали.

Он издавал теперь альманах, называвшийся женским именем «Аглая», которым зачитывались женщины и который начал приносить доход. Все — не что иное, как безделки. Но варварская цензура стесняла и в безделках. Император Павел не оправдал ожиданий, возлагавшихся на него всеми друзьями добра. Он был своеволен, гневлив и окружил себя не философами, но гатчинскими капралами, нимало не разумевшими изящного.

И его грусть вносила всюду порядок и умеренность. Знакомства с ним желали, чтобы успокоить сердце.

Пушкиных он называл: «мои нижегородские друзья», — у него были поместья в Нижегородской губернии. Провинциальная или сельская, поместная жизнь сближала людей, живших в столицах.

Сейчас мысли его были рассеяны. Глядя на хозяйку, он сказал, обращаясь к Сонцеву, о том, как милые женщины умеют из простоты делать изящное и, подражая, оставаться собою. Надежда Осиповна была одета по моде, в легкое белое платье, высокая талия и ленты узлом. Подражание в модах французам запрещено: с мужчин еще недавно срывали на улицах круглые шляпы (*à la jacobin*¹) и фраки, но женщины уцелели, — и высокая талия перенята у вольных французенок. Эти сомнительные наряды были более в моде, чем тяжелые дамские сертучки, которые император всячески поощрял и которые носили придворные дамы. И Надежда Осиповна вспыхнула от удовольствия.

И он сказал о том, чем он жил и на что надеялся все эти дни, — о поездке в Карльсбад и Пирмонт. Он был болен, а больному не воспрепятствуют выехать для лечения. Климат московский становился для него тягостен. Но он не сказал ни о Пирмонте, ни о Карльсбаде.

— Боже, — сказал он, — представляю себе счастливый климат Хили, Перу, острова Святой Елены, Бурбона, Филиппинских, эти вечно цветущие, вечно плодоносные деревья и готов здесь, в Москве, задохнуться от жары.

И все вздохнули, в восторге от того, что слышали, и как бы участвуя в этой для всех важной и приятной печали. А Марья Алексеевна тотчас сказала лакею Петьке принести прохладительного.

Карамзин улыбнулся старинному простоудишу и, казалось, повеселел. Обед сошел как нельзя лучше. Сергей Львович предался еде. Пастет из дичины был в меру горьковат. Разбойник Николашка готовил лучше, чем в Английском клубе. И если бы за него предложили десять или пятнадцать тысяч, — Сергей Львович не продал бы; а если бы и продал, жалел бы. Он ел медленно, страстно, со знанием дела.

После обеда, приятно ослабев, перешли в гостиную, чтобы провести время до вечернего чая. В полутемном зале пахло слегка затхо-

¹ Наподобие якобинских (*франц.*).

лю, но Карамзин с удовольствием оглянулся по сторонам и сказал, что всякий раз дом их напоминает ему Лондон.

Сергей Львович, никак не могший привыкнуть к дому, почувствовал все его достоинства.

Устроились *petit-jeux*¹, играли в буриме: писали стихи на заданные рифмы. Рифмы были: *pouvauté — gérété*;² *avis — esprit*³.

Карамзин, разумеется, написал гораздо изящнее и ловчее Василия Львовича и гораздо умнее, чем Монфор.

Все неволью захлопали его катреню.

Монфор довольно счастливо рисовал кудрявых, как Сонцев, купидонов с луком и стрелой. Все попросили его показать свое искусство, и он охотно нарисовал в альбом Надежде Осиповне слепого купидона, оттенив выпуклости рук и ног, мелко завив волоса и означив ямки на щеках.

Василий Львович недаром просил нарисовать купидона. Он слышал о надписях: находясь в гостях у одной прекрасной женщины, Карамзин, с позволения хозяйки, исписал карандашом мраморного амура, стоявшего в комнате, с головы до ног. С легкой улыбкой он согласился вспомнить стихи и написал вокруг Монфорова амура по разным направлениям стихи: на голову —

Где трудится голова,
Там труда для сердца мало,
Там любви и не бывало;
Там любовь одни слова.

на глазную повязку —

Любовь слепа для света
И, кроме своего
Бесценного предмета,
Не видит ничего.

и, наконец, на палец, которым Амур грозил, —

Награда скромности готова:
Будь счастлив — но ни слова!

Василий Львович заколыхался от удовольствия. Эта людскость, светскость восхищала его и нравилась ему. Дрожа от восторга и страха при одном взгляде на свою Цырцею, Василий Львович одновременно допускал шалости с крепостными девушками, а также на стороне, у известной сводни Панкратьевны, — он любил простонародный тон в любви, — но при всем этом старался соблюсти самую

¹ Игры (*франц.*).

² Новшество — повторение (*франц.*).

³ Мнение — разум (*франц.*).

строгую тайну и был скромнен. Он досадовал на брата, что в комнате нет мраморного амура; он помнил еще несколько экспромтов на руку, на крыло, на ногу, на спину амура, а альбомный листок был уже кругом исписан.

Заставили сестрицу Аннет, невесту поэта, пропеть его песню, которая была у всех на устах:

Стонет сизый голубочек...

У Анны Львовны был тонкий голос, а тонкие высокие голоса были в моде. Марья Алексеевна вышла распорядиться чаем и сказала за дверью:

— Голос писклив.

Заставили петь и Надежду Осиповну, и она спела: «Плавай, Сильфида, в весеннем эфире». Она пела низким голосом. Голос был гортанный, влажный, рокошущий на «р». Сергей Львович слушал, скосил глаза, слегка ошалев от грусти и воображения. Прямо перед ним были плечи невестки, и он, повторяя одними губами слова, одновременно как бы и целовал эти славные в гвардии плечи. Василью Львовичу пение Надежды Осиповны напомнило хриповатое пение цыганок, смуглых фараонит, а не песни милых женщин, но, впрочем, очень понравилось.

Плавай, Сильфида, в весеннем эфире,
С розы на розу в веселье летай!

Николай Михайлович был растроган до слез. Слова романса были связаны с воспоминаниями.

— Коли б не нетерпение, так была б музыкантка, — сказала Марья Алексеевна.

У всех было приятное настроение людей, которые недаром встретились и умеют ценить друг друга.

Густой багровый закат смотрел в окно и предвещал ведро. Сестрица Аннет сказала:

— Ну, в точности Оссиан!

И Карамзин улыбнулся ей снисходительно, как дитяти.

Появилось вино, и, чувствуя туман, влажность и тепло на глазах, что было всегда для него знаком вдохновения, он сказал не английский тост или спич, а то, чем было полно сердце: он предложил выпить за свою отчизну — Симбирскую губернию, где родился и провел годы невинности, и за друзей — поэтов-симбирцев. Это был Дмитриев. Карамзин получил письмо от поэта, поэт собирается в отставку, кинуть влажный Петербург и будет жить в Москве. Уже присмотрен домик у Красных Ворот, вокруг домика садик, — все есть для счастья Филемона, и нет одной Бавкиды.

Все, как по уговору, стали чокаться с Аннет, и Аннет покраснела до самых корней волос.

— Друзья, — сказал Карамзин, — Гораций прославил Тиволи, а я пью за Красные Ворота и за Самарову Гору!

Самарову Гору неподалеку от Москвы, против Коломенского, на берегу Перервы он в особенности любил, здесь он обдумывал «Бедную Лизу» и «Наталью» и твердо решил, — если не удастся за границу, — здесь основать свое убежище, открытое для всех друзей человечества, всех истинно умных, наподобие приюта Жан-Жака.

И после этой легкой грусти захотелось простодушия.

Было самое время показать Никиту, домашнего поэта, и выслушать забавную его балладу. Успех Никиты был полный. Карамзин смеялся от души, потом призадумался и сказал с серьезностью о новых Ломоносовых. Приказом императора родственники Ломоносова были исключены из подушного оклада, и о забытом поэте опять вспомнили, на этот раз с полным уважением, простив ему дикий вкус, который, конечно, был у всех в далекие времена. У младших развязались языки. Все старое было нынче смешно. Заговорили о Державине.

С Державиным у Николая Михайловича был род дипломатической дружбы — старик посылал ему для напечатания свои стихи, а Карамзин скрепя сердце печатал и посмеивался. Василий Львович тотчас привел два державинских стиха из оды на смерть старика Бецкого, который умер четыре года назад:

Погас, пустил приятный
Вкруг запах ты...

Державин сравнивал старика Бецкого с ароматным огнем лампы, но без упоминания о лампаде стих становился двусмыслен и даже неприличен. Василий Львович лепетал все это лукаво. Все заулыбались, а женщины не успели или не захотели разгадать шутки.

— Так наш Таврило Романович любит ладанный дым, — тонко сказал Карамзин, улыбаясь тому, как Василий Львович осмелел при женщинах.

Он погрозил ему пальцем.

— Вы старый бриган, разбойник с галеры, — сказал он ему.

Василий Львович даже похорошел от удовольствия. «Галера» — было веселое и слишком веселое общество в Петербурге. О нем и похождениях его членов рассказывали чудеса. Василий Львович был один из главных членов его, и эту петербургскую славу очень ценили в Москве. Все подозревали за ним такие шалости, на которые он даже был способен. Красавица Капитолина Михайловна главным образом и прельстилась этой славой.

И тут Карамзин упрекнул его в лени — самый сладостный для поэта упрек, — напомнив о своем альманахе. Василий Львович захлебнулся и забрызгал мелко слюною: у него ничего нет достойного... а впрочем, есть, много есть... разных... безделок.

Сергею Львовичу также хотелось блеснуть, но он побоялся. В шка-

пу лежали у него списки вольных стихотворений, не какие-нибудь приказные грубости или похабства, — их он хранил только потому, что редки, — но именно вольные и легкие стихотворения, где все описывалось под дымящей и покровом, а самые пылкие места живописались вздохами: «Ах» и реже: «Ох». В других же стихотворениях осмеивался не только Эрот или женщины, но и важные лица. Сергей Львович досадовал: нельзя, нельзя... Нынче и безгрешное обращают в грешное, то есть, попросту говоря, притянут к Иисусу и... шкуру сдерут.

Когда Никита и Петька зажгли вечерние свечи и все уселись за чайный стол, он успокоился и почувствовал полное довольство.

Карамзин похвалил вишневое варенье.

— Это варенье ем я с истинным удовольствием.

В это время загромычала какая-то колымага, зазвонил колоколец, и у самых ворот остановились.

Сергей Львович заметно побледнел.

В вечернее время звук подъезжающей колымаги для лиц, хотя бы и невинно пьющих чай, был неприятен. Так ездили фельдъегери. В сенях хрипло и бранчливо заговорили, и бледный Никита, открыв дверь, доложил, глядя испуганно в глаза Сергею Львовичу:

— Его превосходительство генерал-майор Петр Абрамович Аннибал.

6

Он был небольшого роста, с небольшой головкой, желтыми руками, тонок в талии; с выпуклым лбом, с седыми клочковатыми волосами. Одет он был в темно-зеленый допотопной формы военный сертук, а двигался легко, не прикасаясь к полу пятками. Так он прошел два шага и остановился.

Он поклонился и рывком, толчками сказал:

— Дознался от братца... от Ивана Абрамыча... про радость... — он метнул глазками по гостям. — А как я здесь проездом, долгом почел, — он поклонился Марье Алексеевне, — вас, сударыня-сестрица, поздравить и вас, милостивый государь мой, — отнесся он безразлично к Сергею Львовичу, — а внука своего... поглядеть и крестик ему от деда...

Он отдохнул и спросил:

— Он где сейчас? Внук-ат?

Петр Абрамыч доводился родным дядею Надежде Осиповне и, как все Аннибалы, пошел по артиллерии. Когда брат его, Осип Абрамыч, вошел в связь с псковской прелюбодейкой и бросил свою семью на ветер, Петр Абрамыч волей-неволей должен был принять почетный и бесплодный труд опекунства. Относился с участием к племяннице и судьбе ее, он, однакож, оказался вполне непригоден к опекунству и понял его как-то странно: ездил укорять преступного брата, писал изредка длинные письма Марье Алексеевне, называл ее сударыней-сестрицей, но в отношении денег отмалчивался. Объяс-

нялось это тем, что в этом вопросе он и сам был очень нетверд и даже полжизни провел под следствием за растрату каких-то артиллерийских снарядов. Братец Иван Абрамыч кой-как замял скандальное дело. К этому времени Петр Абрамыч, находясь уже в отставке и будучи опекуном, развелся с женой и бежал с одной лихою девицей из Пскова, где проживал, в свою деревню Ельцы, оттуда послал жене уведомление, чтобы к успокоению его она более с ним не жила. Ездя увещевать преступного брата, он нашел с ним много общих взглядов и точек соприкосновения.

Наезды эти кончались общим братским загулом, продолжавшимся с неделю и более. Вскоре старая обольстительница впутала и Петра Абрамовича в денежные счета; по заемным письмам брата он передал красавице много денег и сам чуть не разорился. Находясь в отставке, но еще в полных силах, он вскоре окончательно переехал в близкое соседство к преступному брату. Беспутная роскошь, в которой тот жил, его прельстила. Проживал он со своею лихою девицею в маленьком сельце Петровском, рядом с селом Михайловским, где жил двоеженец брат. Жил он там, по слухам, весело, но никого к себе не пускал, а к нему никто не ездил. Выезжал же он главным образом для ведения путаной тяжбы о разделе с супругою и сыном Вениамином. Так его занесло в Москву.

Все были озадачены.

Для Сергея Львовича встреча была неприятна, особенно ввиду присутствия Карамзина. Аннибалы, с которыми он породнился, были фамилия по необычайности и известному всем началу не без значения и даже по-своему почтенная. Но так было на словах, в отсутствие старых арапов. В отдалении от них никто не мог вообразить, как желты и черны арапские лица. Поэтому, относясь к Ивану Абрамовичу, как и вся петербургская гвардейская молодежь, с почтительной усмешкой и снисходительным любопытством, он вовсе не стремился повидать блудного тестя и в особенности не желал встреч с жениной роднею в присутствии лиц, мнением которых дорожил. *La belle s'écôle*¹ была хороша, ее судьба увлекательна, но появление арапа-дяди неуместно. Лицо его было совершенно арапское, и внезапный интерес к нему посторонних лиц неприличен. Любопытство, которое старый арап выказал младенцу, в честь коего Сергей Львович и устроил в сущности сегодняшний куртаг, смутил всех. Занятые друг другом, событиями, играми, воспоминаниями сердца и стихами, гости до сих пор не имели времени и предлога вспомнить о ребенке. Как на грех, ребенок все время молчал, не подавал голоса. В самом деле, где он был сейчас? Верней всего, спал на антресолях.

Сам арап тоже был в нерешительности. Он не ожидал встретить гостей. Личико его было морщинистое, жеваное, глазки живые, ко-

¹ Прекрасная креолка (*франц.*).

ричевые, кофейные, с темными желтыми белками, как у больных желтухой, а ноздри широки. Француз с любопытством глядел на него. Старик вдруг остановил обезьяньи глазки на Сергее Львовиче и спросил хрипло:

— Может статься, я помешал?

Марья Алексеевна вдруг ответила, недовольно, но вежливо:

— Что ж, садись, Петр Абрамыч.

Арап улыбнулся; он оскалил белые зубы, и сморщенное печеным яблоком личико вдруг стало детским.

— Благодарю, сударыня-сестрица, — сказал он нежно, и женщины увидели, что арап был старый любезник и мил.

Надежда Осиповна подошла к дяде.

— Какая стала, — сказал он комплимент, путая возрасты, и поцеловал ее в лоб. — От отца зов, приглашает отец вас, милостивый государь мой, с женою вашею, — отнесся он к Сергею Львовичу. — Зовет летом у нас ягод поесть.

Приглашение было принято Сергеем Львовичем любезно. Все оказывалось гораздо приятней и приличней, чем он полагал: старый арап привез приглашение отца.

Предстоял разговор с тестем, — быть может, о приданом. И летом приятна природа. Мысль поесть ягод у тестя ему вдруг улыбнулась. Сергей Львович любил ягоды. А Марья Алексеевна останется дома с детьми.

Марья Алексеевна вышла за дверь, сказала:

— Тоже, посол явился, — и вернулась.

Петр Абрамович вина не стал пить и тотчас же попросил водки. Марья Алексеевна достала откуда-то старую полынную настойку.

Отпив, он серьезно всех оглядел, медленно двигая языком и губами.

Марья Алексеевна все смотрела на него каким-то далеким взглядом. Петр Абрамович пробовал вкус водки.

— Я, сударыня-сестрица, — сказал он Марье Алексеевне, — настойки в простом виде не пью, я ее перегоняю. Я возвожу в известный градус крепости. Чтоб вишня, горечь, чтоб сад был во рту.

Тут он увидел Капитолину Михайловну и повеселел. За столом сидело много молодых женщин. Он выпил рюмку в их честь.

Красавица Капитолина Михайловна кивнула ему вежливо; внимание старого арапа ей польстило. Она повела плечами.

Он осмотрел исподлобья комнату.

— Флигель теплый ли? — спросил он и, не дождавшись ответа, забыв о флигеле, опять вспомнил о ребенке: — Как нарекли?

Он был скор в переходах.

Сергей Львович нахмурился: дядя-арап назвал дом флигелем. Дом, конечно, и был флигель, но переделан заново, отстроен и имел чисто английский вид.

Узнав, что младенец назван Александром, дядя всплеснул руками.

— Великолепное имя, — сказал он. — Два величайших полководца, сударыня-сестрица, в мире: великолепный Аннибал и Александр. И еще Александр Васильич — Суворов. Поздравляю, сударыня-сестрица! Это великолепное имя вы выбрали.

— Имя дано более по фамильной памяти, — сказал неохотно Сергей Львович, — по прадеду его, по Александру Петровичу, ибо он — прямой основатель семейного благополучия, а не по Суворову, — добавил он тонко и покосился на Карамзина.

Суворов был в чести только у стариков. У него начиналась фликсена, или размягчение мозгов. Это было достоверно. Оттого война с санкюлотами и шла так плохо.

Петр Абрамыч посмотрел на него исподлобья и выпил рюмку полнойной.

— Не припомню сударь, — сказал он, — деда вашего, не знавал.

С мужчинами он разговаривал не так, как с женщинами, — отрывисто и нелюбезно.

— Ан нет, — сказал он вдруг с хрипотой, — и деда помню. Это, помнится, тятенька еще покойный сказывал, — Александр Петрович. Жену не у него ли, сударыня-сестрица, зарезали?

Сергей Львович откинул голову и прищурился. Василий Львович поправил жабо.

Если бы дядя не был так необыкновенен и не говорил так отрывисто и внезапно, — решительно это было бы оскорблением.

Бабка, жена Александра Петровича, была некогда действительно зарезана в родах, но зарезал-то ее не кто иной, как муж ее, сам Александр Петрович, по имени которого и был теперь наречен младенец. Он зарезал ее из ревности, в умоисступлении, и всю остальную жизнь за это был под судом. Вспоминать об этом было не ко времени и невежливо.

Однако, судя по отрывистому характеру старого арапа, это было, вероятно, просто внезапное старинное воспоминание. Кстати, по всему было видно, что генерал-майор еще до наливки сегодня кушал водку.

Карамзин вмешался.

Он давно с любопытством поглядывал на арапа и теперь, тихо и важно как всегда, спросил, не приходилось ли генерал-майору путешествовать.

И по живым кофейным глазкам и по сухости, верткости действительно старик напоминал какого-то всесветного африканского путешественника, как теперь их любили выводить в английских романах, а никак не псковского помещика.

Под любопытными взглядами он сидел спокойно, — видно, что это было ему в привычку.

— Я, сударь мой, всю жизнь был по артиллерии и в царской службе, — сказал он с достоинством, — и точно ездил, а путешественни-

ком николи не был. А теперь, как открылась дальняя война, на чужой кошт, то беспрерывно буду проситься в дальние край... Без стариков обойтись не могут.

Карамзин мог бы обидеться, — он был автор «Писем русского путешественника», — и если б можно было предположить, что генерал-майор читал изящную прозу, это была бы дерзость. Но много видевший Карамзин решил, что старый арап обиделся самым словом «путешествие». Это показалось ему забавною чертою.

Марья Алексеевна искоса поглядела на деверя.

— Что так захотелось, — спросила она, — в дальные-то край? Из дому-то. Пустят ли тебя?

Марья Алексеевна метила в псковскую красавицу, которая отбила генерал-майора от семьи. Она ее ненавидела, ни разу не выдав, и даже более, чем свою разлучницу.

— Я, сударыня-сестрица, — сказал вдруг тихо и нежно генерал-майор, — тятенькина княжества хочу сыскать. Затем из дому еду.

Он обращался с Марьей Алексеевной почтительно и терпеливо, не подымая глаз. Так он говорил с нею в молодости.

— Какого это княжества? — опять спросила Марья Алексеевна, и с явным недоверием.

— Арапского, — терпеливо сказал генерал-майор и метнул глазками в Карамзина, — в Эфиопском царстве, в Абиссинии, губернаторство Арапия, там тятенькино княжество по всему быть должно. Тятенькин отец, дед-ат мой, князь был африканский.

Карамзин чуть улыбнулся бледной улыбкой.

— Не слыхивала, — сказала Марья Алексеевна, — про губернаторя. Что ж, Петинька, раньше за всю жизнь того княжества не нашел, ни братцы?

— Я, сударыня-сестрица, занят был, — сказал Петр Абрамович, все так же нежно и отчетливо, — на государственной службе был занят, — повторил он, сам прислушиваясь и убеждая себя, — и не мог тятенькина княжества сыскать. Тоже и братцы.

Марья Алексеевна покачала головой, но тут опять вмешался Карамзин. Литератор сказался, в нем. Судьба арапа была презанимательная.

— Жизнь батюшки вашего необыкновенна, — сказал он учтиво. — Не оставил ли он по себе бумаги, письма и прочее? Все это было бы драгоценно для истории.

Старик нахохлился. Упоминание о бумагах лишало его всякого доверия к Карамзину.

— У меня, сударь, ничего нет, — сказал он опасливо, — да и тятенька не любил этих бумаг. Может, что и есть у братца, у Ивана Абрамовича.

Растрата снарядов, а теперь тяжба приучили генерал-майора бояться бумаг.

Карамзин решил оставить в покое старика. Он спросил у Сонцева, который слыл вестовщиком:

— Правда ли, Кутайсов уезжает?

«Уезжает» означало — впадает в немилость.

Кутайсов был пленный турка, дареный цырюльник, — а теперь ведал всеми лошадьми государства, граф и кавалер. Притча во языцех.

— Напротив того, — отвечал с удовольствием Сонцев, — кавалер Александра Невского.

У него были приятели в герольдии, приказ заготовлялся.

Генерал-майор вдруг уставился на Карамзина. Ноздри его раздулись.

— Кутайсов, — сказал он сипло, — камердинер и по комнатной близости орден имеет. Он сапоги ваксит. А батюшка мой по заслугам отличен. Потому я именем Петровым и назван.

Собственно, ход мысли Карамзина и был таков: ему было известно, что славный арап был камердинер или денщик императора Петра. Поэтому он и вспомнил о Кутайсове.

Он смутился.

— Батюшка мой, — сказал брыкливо старик, — сам князь был, только что африканский. А вызван для примера. Фортификации учить. А что он черен, то больше был лицом нагляден, и лучше запомнилось, какой великий муж из него образовался. Вот она, сударь, сова.

Согнув палец, он показал перстень с черной печатью. Он пил теперь непрерывно — стакан за стаканом, и бутыль с настойкою пустела.

— Тому документ есть верный, немецкий. Только я, сударь, его вам не дам.

Он начинал хмелеть.

— Жадный, — сказала Марья Алексеевна.

И опять старик покорился.

— Верьте, сударыня-сестрица, я всегда и вечно ваш, — сказал он невестке, — а что тятенька с лица был нехорош, так сердцем-то, сердцем — прямой Аннибал. Даю слово Аннибала.

Марья Алексеевна вдруг сказала со вздохом:

— Сердцем-то зол был и с лица нехорош, а вот куртуаз¹ у него было поболее, чем у вас, Петинька. *Он улыбаться* умел, — сказала она значительно.

Петр Абрамович загляделся на невестку.

— Эх, сердце золотое, — сказал он и вдруг раскрыл в улыбке белые зубы.

— Лучше, лучше был, и зубы белее, — махала ручкой Марья Алексеевна.

Сергей Львович был обеспокоен, и сердце у него замирало: Карамзин не обиделся ли.

¹ Учтивости (*франц.*).

Сергей Львович в смущении сказал Никите повторить его балладу. Тот было начал, да сбился.

Действительно, у Карамзина сделалось несколько скучное лицо. Он мало понял из раздраженной речи старика. Между тем Петр Абрамыч положил на нее много труда. Он вспотел и отирал лоб платком.

Он и правда видел у братца Ивана Абрамыча документ, о котором говорил. Родитель, над которым в Ревеле смеялись немцы майоры за черноту лица, позднее поручил одному доверенному немцу составить свою репутацию. Сыновья по приказу старика, скопом, с превеликим трудом, с помощью знакомого немца аптекаря прочли ее и вытвердили.

Составлена она была с целью добыть дворянство. Петровское время было хлопотливое, и о дворянстве старый арап вспомнил только ко времени Елизаветы, когда все наперерыв стали доказывать благородство своего происхождения. Тогда же с дворянством был ему пожалован герб, которым теперь возгордился Петр Абрамыч: скрещенные над подозрной морской трубою знамена, а надо всем — сова, — ученость и ум. Герб был вырезан у Петра Абрамовича на перстневой печатке.

Император Петр, — говорилось в репутации, — желая показать всей знати пример, старался достать арапчонка с хорошими способностями. Арапчат — Neger¹, Mohren² — употребляли все двory как рабов, — писал немец, — а Петр захотел доказать, что науками и прилежанием их воспитать можно. По темной же коже такой пример, — полагал император, — лучше запомнится всей знати — Ritterschaft und Adel³, — которая ленилась и Петру противилась. О «губернаторстве Арапии» там не говорилось, но рассказывалось, со слов самого старого арапа, о том, что Ибрагим — или же Авраам — был из Абиссинии, княжеского рода, владевшего тремя городами. Петр Абрамыч был уверен, что кратко обо всем этом рассказал.

Он совершенно разочаровал Карамзина.

Знаменитый арап был креатурой императора, — чисто анекдотическая и драгоценная черта слишком поспешного царствования.

К великанам, карлам, арапам император, по преданиям, питал особое любопытство. Дикие понятия его о природе человека казались забавны Карамзину, ученику Лафатера.

Теперь генерал-майор был вполне пьян.

— Как звать? — спросил он отрывисто Никиту.

— Никитой, сударь.

— Ты, Никишка, плох, — сказал генерал-майор, — вот у меня

¹ Негров (нем.).

² Мавров (нем.).

³ Рыцарству и дворянству (нем.).

Гришка мой с гусяром поет — в масть и цвет! В дрожь приводит!
Слезы! Сердце золотое! А ты — слова в нос произносишь. Ты плох.

Карамзин стал прощаться. Вечер был испорчен.

Самарова Гора, приют друзей сердца, московский английский home¹, сельское одиночество, — все разом пропало.

Явление арапа, его грубость и нежность, его внезапные манеры, — не то африканский мореплаватель, не то пьяный помещик, — разрушили все милые обманы.

Сергей Львович говорил о Болдине, которого не знал, француз был придворным несуществующего двора, будущность была темна для Карамзина.

Вместе с Карамзиным ушел и француз, убедив сестрицу Аннет носить высокую прическу и не успев попросить взаймы.

Сергей Львович проводил гостей и вернулся омраченный. И потраченные деньги пошли прахом, и Карамзин ушел в неудовольствии. Словно все пустее и темнее в комнатах стало без Карамзина.

Всю жизнь старался быть, как все, и чтоб все было, как у всех, и никогда ничего не выходило. Этот бюрлескный тон старого дяди, которого не вынес Карамзин, возмущал и его, но он затруднялся выразить свое негодование.

Старый арап поднялся — и вдруг двинулся к лестнице — к антресолям.

— Мне внука поглядеть, — бормотал он, — и ничего боле. Внук-ат, он где?

Марья Алексеевна загородила ему дорогу.

— Не, пушу, — сказала она со страхом и злостью. — Спит ребенок, не прибрано.

Арап отступил.

Глазки его тускло посмотрели на невестку.

— Деда? — прохрипел он. — Дядю? Крестик привез! От деда.

Он вытащил из кармана маленький золотой крестик, сжал его и потряс кулачком.

Надежда Осиповна все время смотрела на дядю со странным спокойствием, не отрываясь. Она всего два раза, ребенком, видела отца, — и в первый раз он запомнился лучше и яснее, чем во второй. Она помнила цветочки на жилете со стразовыми пуговицами, пестрый бант, влажный поцелуй и удивительно легкую походку, — он отскочил он нее, как мяч. И всю жизнь, все свои двадцать три года она помнила и знала, что это-то и было ее и матери несчастьем. И теперь она, широко раскрыв глаза, смотрела на дядю.

Вытянув вперед шею, со страшной решительностью, качаясь на легких коротких ножках, дядя шел на антресоли. Волосы торчком стояли на его седоватой голове.

¹ Уют (англ.).

Надежда Осиповна встала и пошла за дядей.

Тогда Марья Алексеевна отступилась.

Она села у камина и отвела глаза.

— Внука, — сказала она, — тоже дед нашелся...

И она стала молчаливо глотать слезы, слезу за слезой, — как тогда в молодости, когда ирод ее тиранил.

7

Гости не знали, оставаться или уходить.

Василий Львович моргал и посапывал, как всегда бывало с ним в затруднительных обстоятельствах. Сестрицы шурились и украдкой пожимали друг другу руки, следя за переменами в лице Марьи Алексеевны.

Сонцев был искренне огорчен. Он хорошо поел, и какая-то непонятная происшедшая перемена мешала его пищеварению. Он дожевывал, огорченный, кулебяку.

Одна Капитолина Михайловна, как красавица, не давала себе труда тревожиться или сердиться на арапа. Тем более что старый арап, как казалось ей, не был нечувствителен к ее прелестям.

Но и на самом деле ни спора, ни ссоры в сущности не было, да и ссориться пока, по-видимому, не из чего было. Всегда вокруг Аннибалов образовывался этот непонятный для Марьи Алексеевны шум, свара, раздражительность, как в бане вокруг человека стоит клубом горячий туман.

Сергей Львович мелкими сердитыми шагами взобрался по лестнице наверх, за всеми.

— Не тревожьтесь, голубушка Марья Алексеевна, — сказала Елизавета Львовна, — стоит ли тревожить себя, душенька!

Марья Алексеевна утерла глаза и нос платочком и, даже не посмотрев на сестриц, пошла на антресоли.

Аннет сжала украдкою руку сестре. Обе стали жадно прислушиваться.

8

Моргала и кланялась сальная свеча, с которой никто не снимал нагара. Окна были не завешены, и в них гляделась луна, стены голы. Белье лежало кучей в углу; на веревочке у печки сушились пеленки; распаренное корыто стояло посреди комнаты, и арап споткнулся. Беспорядок был удивительный. Трясущийся пламень придавал детской походный, кочевой, цыганский вид. Эта комната не была рассчитана на внимание посторонних. Пушкины были *пустодомы*.

Маленькая девочка присела перед арапом.

— Это кто? — спросил он изумленный.

— Ольга Сергеевна, батюшка, — сказала нянька, кланяясь. — Здравствуйте, батюшка Петр Абрамович.

Глаза у ней были молодые, она была разбитная, ловкая.

— Здравствуй, — сказал арап, — как звать?

В детской он присмирел, винные пары рассеивались.

— Аришкой, батюшка, из кобринских я, из Аннибаловых.

Арина говорила нараспев. Она была из Ганнибаловой вотчины и девкой отошла к Марье Алексеевне. Она низко кланялась Петру Абрамовичу. У Аннибалов дворня ходила по струнке.

— Дух здесь, Аришка, нехороший. Ты смотри за барчуком.

Сергей Львович подоспел.

Арап наклонился над ребенком.

— Тише, mon oncle¹, — сказала глухо Надежда Осиповна, — спит.

— Не спит, — сказал арап.

Ребенок в самом деле не спал. Он спокойно смотрел бессмысленными небольшими глазами цвета морской воды, еще неустоявшегося, уробного.

Арап всматривался в него.

— Белобрыс, — сказал он.

Он посмотрел еще.

— Кулер белесоватый.

Ребенок задвигался, смотря мимо всех.

— Расцелуйте его в прах! — закричал арап. — Честное аннибальское слово, — львенок, арапчонок! Милый! Аннибал великолепный! В деда пошел! Взгляд! Принимаю! Вина!

Сергей Львович выступил. Пьяный арап распорядился у него в доме, как у себя в вотчине. Несмотря на все свои чувства к жене, он всегда полагал, что несколько возвысил Аннибалов, породнясь с ними и подняв их до своего уровня. С детства он запомнил проезд какого-то вельможи по Петербургу, туман, фонарь, крик: «Пади», и калмыка с арапом в красных ливреях на запятках. Москву теперь клонило к старой знати. Турок Кутайсов был у всех в презрении.

Старый арап спугнул всех гостей и объявил Аннибалом и чуть ли не арапчонок его сына.

— Милостивый государь, — сказал Сергей Львович, вздыхая, с необыкновенным достоинством, — не устали ли вы с дороги и не время ли отдохнуть? И притом отца... отцу... Смею думать, сын мой не... львенок... и не арапчонок, а Пушкин, как я. Я ваше племя люблю и уважаю, — когда оно хорошее, — добавил он строго, — но согласитесь, что сын мой... что отец, как я...

Вдруг неожиданно легко арап поднял ребенка, побежал с ним к свече и поцеловал звонко и влажно на всю комнату.

¹ Дядюшка (франц.).

Одной рукой держа ребенка, он другой сунул крестик в свивальник.

Марья Алексеевна сердито отнимала ребенка.

— Уронишь, — сказала она, отстраняя старика рукой, — прочь от ребенка, ироды.

Она стала качать мальчика, который, наконец, заплакал.

Арап обернулся к Сергею Львовичу. Он сделал одно короткое движение — схватился рукой за пояс, за саблю. Сабли не было, старик был давно в отставке.

— Как я... как ты! — захрипел он, и было удивительно, сколько низких, влажных хрипов есть в человеческой глотке. — Ты кто таков? Ты, сударь, — фьють!.. — свистнул он. — Свистун ты! А я — Аннибал. Вот мое племя!

Глаза его были влажные и дымные, он был пьян.

Сергей Львович побледнел.

— Не кричите, mon oncle, — сказала Надежда Осиповна глухо, и лицо ее пошло пятнами, — спит ребенок. Я кричать не позволю.

— На девку свою кричи, — тянула Марья Алексеевна далеким певучим голосом.

Арап попятился.

Губы у него прыгали и не находили слова.

— Пушкиновых... забываю! — закричал он, сжав кулачки. — Прах отрясаю! — он пнул ногою стул и сорвался вниз по лестнице.

Слышно было, как он прогремел через залу и выбежал в сени.

Марья Алексеевна уложила ребенка в зыбку и вдруг сжалась в комочек, стала комочком, сухоньким, старым, востроносым; шмыгнула носом и прошла, трясая головой, куда-то.

Сергей Львович, все еще бледный, выпятив грудь, ходил по комнате. Он был ослеплен, оглушен срамом. Потом тихонько открыл двери и глянул вниз. Гостей не было.

Марья Алексеевна присела у окошка.

— Тоже, посол явился, — сказала она негромко, — дед.

Она трудно дышала. Голова ее качалась.

Генерал-майор шествовал через двор стремительно, неверными шагами.

Колымага ждала его.

— Дед, вишь, — сказала Марья Алексеевна, — сам еле ноги волочит. Горе мое!

А Сергей Львович долго еще хорохорился. Он все ходил, подпрыгивая, по детской и отшвыривал ногою разметанное по полу белье. Он старался понять, как начался, откуда взялся и куда зашел этот нелепый спор.

— Я готов всем жертвовать спокойствию, — говорил он, положив руку на сердце, — готов все стерпеть, и не в моем характере, друг

мой... Но уж если меня затронут, и притом — где? — в моем же доме! Я не желаю, душа моя, более встречаться с этим... vieux raifort¹.

Тут он взглянул на Надежду Осиповну и обомлел.

Она сидела на Аришкиной кровати, ногою качала колыбель, не смотря на него и не слушая. Глаза ее были раскрыты, и она, не мигая, плакала: из глаз текли большие мутные слезы. Она их не замечала. Потом она посмотрела на ребенка, как на чужого. Вдруг она увидела Сергея Львовича, его походку, его прыгающие плечи, все его благо-родное негодование и вслушалась.

— Подите вон, — сказала она глухо.

И Сергей Львович, изумившись и втянув плечи, пошел из комнаты. Она впервые его прогнала. Он даже толком не понял за что.

— Выгнали дядю-то, — говорила шепотом в людской Арина, — надо быть, больше не приедет. Все кричал: мы, Аннибаловы! Меня признал. Двадцать лет не видал, а признал; у них взгляд вострый — беда!

— Пьяный приехал, — объяснял Никита, — характер у них непеносимый. И разговор грубый. Как на большой дороге. Генерал!

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Семейный корабль снялся с московского Елохова быстро и неожиданно: во флигельке стала протекать крыша, а съезжать было некуда. Марья Алексеевна собралась к себе в Петербург — продавать свой домик в Измайловском полку («дворня все в пустоту приведет, — знаю их»). А Сергею Львовичу захотелось осмотреться. У него была в крови эта легкость передвижения: он любил освобождаться разом от всех тягот, сев в рессорную коляску или даже в наследственный рыдван. Он все позабывал тогда. При виде облаков и полей во взгляде у него появлялась неопределенная решительность — он любил дорогу.

Под скрип колес, при случайных встречах у него рождалось много счастливых и быстрых мыслей, а когда наступало полное их отсутствие, он сладко дремал.

Недолго думая, Пушкины переехали всей семьей в Петербург, а Сергей Львович, вспомнив приглашение тестя, поехал к нему, в село Михайловское, предоставив жене и теще устраиваться на новом месте.

Свидание с тестем его смутило. Он ожидал родственных объятий, слез, раскаяния, воспоминаний и рисовал мысленно сцену прощения. Он прощал тестя от имени жены, да уж и Марьи Алексеевны, и своего.

Ничуть не бывало.

¹ Старым хреном (*франц.*).

Глубокое равнодушие окружало старого арапа. Равнодушно пожал он руку зятю, машинально спросил о здоровье — и только через минуту улыбнулся долгой, бледной улыбкой. Потом они сидели на скамье, почерневшей от дождей, желтые листья лежали по всем дорогам, и арап молчал. Лиловые щеки оползли на воротники, и глаза были застланы красной дымкой, — тесть с утра кушал водку.

Он молчал и, двигая губами, смотрел на дорогу, листья, деревья. Он походил более на почерневшее от пожара, оставленное людьми строение, чем на человека. Где его хваленая легкость — «как на пружинах», о которой помнили все, и Марья Алексеевна, и Аришка. Он забыл о собеседнике и, всему чужой, двигал вогнутыми губами. И только когда на повороте показались крестьянские девки в пестрых сарафанах, с кошелками в руках, и проплыли в ближний лесок за грибами, арап перестал жевать. Он проводил их глазами и обратился к зятю; взгляд его прояснился.

— Как хороши, — сказал он зятю и улыбнулся, как все Аннибалы, — зубами.

Потом опять напала на него дремота; он дремал с открытыми неподвижными глазами, сдвигающимся ртом и мерно подымающимся животом. Жилет его, дорогого шелка, со стразовыми пуговками, был засален.

В последний день он повел зятя погулять. Опираясь на тяжелую палку, он показал ему лес и границу своих владений, три молодых сосенки росли на пригорке, как ворота в усадьбу. Следы разрушения и заброшенности были везде. Скамья погнила, беседка покривилась, пашни поросли сурепицей. Потом они спустились. Справа и слева синели озера. Они постояли у озера. По озеру шла мелкая рябь, как морщины у старухи; потом их смывало, и вода молодеда. Сергей Львович чувствовал одновременно и огорчение от всеобщего упадка и странное довольство тишиною тестевых владений.

— Как море, — сказал он тестю, глядя на озеро.

Он никогда не видел моря. Арап посмотрел на него, не понимая. Он долго стоял, опираясь на палку, и зять более его не тревожил. Потом он взглянул на зятя и, как будто угадав его мысли, широко повел палкой по озеру, соснам, лесу.

— Все вам оставляю.

Тестевы владения остались для Сергея Львовича загадкой. Господский дом, который по рассказам Марьи Алексеевны был велик и хорош, — крыт был соломой. Длинный, шитый тесом, он походил на сарай. Банька рядом, справа службы, перед домом цветник — и эта соломенная крыша! Но жест старого арапа был широкий, озеро полноводно, — и Сергей Львович уехал с недоумением, увозя на щеке влажный и равнодушный поцелуй тестя. Жирные, бледные льны шли по обеим сторонам, он ехал и думал, что это пшеница.

— Хороший нынче урожай, — сказал он с удовольствием вознице, кривому аннибаловскому Фомке.

В пути он несколько оправился, на ближней станции разговорился с двумя здешними помещиками и, приехав, долго хвалил прием тестя, значительно сказав жене и теще, что тесть одряхлел и видимо угасает, усадьба же запущена.

Теперь настала зима, а они все жили в Петербурге, не решаясь ни осесть, ни перебраться. У всех было в столице сомнительное расположение духа, никто не решался предпринять ничего основательного, и все считали время не более как на месяц вперед. Состояние императора было таково, что все менялось каждый день. Сергей Львович решил быть тише воды, осмотреться, но в Петербурге не оседать. Чем дале, тем лучше.

Так они жили в Измайловском полку, стараясь не слишком часто показываться на гуляньях и главных улицах, которые теперь были полны императором.

Марья Алексеевна жила в самом средоточии военных, и знакомые офицеры, заходившие по старой памяти, рассказывали чудеса.

2

Нянька Арина, укутав барчука и напялив на него меховой картуз с ушами, плыла по Первой роте, по Второй, переулку и пела ребенку, как поют только няньки и дикари, — о всех предметах, попадавших-ся навстречу.

— Вот солдат как шагает постановно. Вы на него взгляните, батюшка Александр Сергеич, какой солдат... Шапочка медная... на солнце блестит... а под бляхой крест горит. Вот так шапочка. Вот вырастете и сами такую наденете.

Везде были солдаты. Латунная шапка с мальтийским крестом была на Преображенском солдате, шедшем по улице.

— А вот, батюшка Александр Сергеич, и пушечки. Вот какие! Вот они грохочут, вот гудут. Что твой колокол. Вы шапоньку-то на уши да покрепче нахлобучьте, мороз, нельзя, заморозитесь. Пушечки. Да.

Арина плыла мимо артиллерийской казармы. Ворота были открыты, солдаты выкатывали пушки, а двое на корточках их чистили.

— Тетка, — сказал один негромко, когда нянька поровнялась, — по грибы, что ль, с барчуком вышла? Пушку не хочешь почистить?

— Без вас, без охальников, обойдуся, — сказала ровно Арина.

Она проплыла на главную Измайловскую улицу. Ребенка она вела за руку. Он пристально, неподвижно на все глядел.

— Ай-ай, какие лошадушки — на седельцах кисточки, и кафтаны красные, шаровары бирюзовые, — пела Арина, — и шапочки бахарские, а ребятушки бородатые.

Это были казаки уральской сотни, которую император содержал в Петербурге. Они медленно ехали по широкой Измайловской улице. Улица была пустынна.

— Ай-ай, какой дяденька-генерал едут. Да, батюшка. Сами маленькие, а мундирчики голубенькие, а порточки у их белые, и звончком позванивает и уздечку подергивает.

Действительно, маленький генерал дергал поводья, и конь под ним храпел и оседал.

— Сердится дяденька, вишь как сердится.

И она остановилась как вкопанная. Гневно дергая поводья, генерал повернул на нее коня и чуть не наехал. Он смотрел в упор на нянюку серыми бешеными глазами и тяжело дышал на морозе. Руки, сжимавшие поводья, и широкое лицо были красные от холода.

— Шапку, — сказал он хрипло и взмахнул маленькой рукой.

Тут еще генералы, одетые не в пример богаче, наехали.

— Пади!

— На колени!

— Картуз! Дура!

Тут только Арина повалилась на колени и сдернула картуз с барчука.

Маленький генерал посмотрел на курчавую льняную голову ребенка. Он засмеялся отрывисто и внезапно. Все проехали.

Ребенок смотрел им вслед, подражая конскому скоку.

Сергей Львович, узнав о происшедшем, помертвел.

— Ду-ура! — сказал он, прижимая обе руки к груди, — ведь это император! Дура!

— Охти, тошно мне, — сказала Арина, — он и есть.

Сергей Львович задыхался от события. Сперва он думал, что начнут разыскивать, и хотел немедля скакать в Москву. К вечеру успокоился. Пошел к приятелю, барону Боде, и осторожно описал событие. Барон пришел в восторг, и Сергей Львович осмелел.

Он, под строгим секретом, должен был рассказать все подробности происшествия, как император, грозно крикнув:

— Снять картуз! Я вас! — вздернул на дыбы своего коня над самой головой Александра — и проскакал в направлении к артиллерийским казармам.

— Первая встреча моего сына с сувереном, — сказал он с поклоном и развел руками.

Через неделю он окончательно решил, что в Петербурге оставаться небезопасно и нужно перебираться на житье в Москву. В России для него было всего два города, в которых можно было жить: Петербург и Москва.

Через месяц после того, как Сергей Львович спасся с семьей в Москву и, ходя в должность, желал одного: быть незаметным, — произошла смерть императора Павла.

Весть о смерти дошла до Москвы как-то необыкновенно быст-

ро, — чуть ли не в те же сутки, скорее самой скорой почты. Потом стали приходить подробности, и все оживилось. Император был убит, дворянские вольности возобновились. Французские круглые шляпы и панталоны разрешены. Всею душою Сергей Львович боялся двора и поэтому воображал себя в оппозиции. Он очень радовался со всеми забавному падению Кутайсова: как тот в одном белье бежал по улицам. Каково! Обершталмейстер! Москва стремилась в несколько дней наверстать великий павловский пост. В этот год на улицах и в домах болтали больше, чем в три предыдущие вместе. Балы шли беспрепятственно.

Когда Надежда Осиповна выезжала, все в доме шло вверх дном. Она была ленива и никогда не одевалась ко времени. Но перед самым выездом начинали шнырять и носиться по дому девки, расплескивая из тазов горячую воду, обдавая паром и шурша отглаженными шелками. Надежда Осиповна покрикивала в своей комнате. Раздавался плеск вылитой воды и треск оплеух. Девки носились с красными опухшими щеками, и у них не было времени плакать. Надежда Осиповна, полуголая, мчалась в соседнюю комнату и вихрем пролетала назад. Сергей Львович жмурился не без удовольствия. Марья Алексеевна пожимала плечами и уходила к себе, недовольная.

— На охоту ездить, собак кормить.

Потом Надежда Осиповна выходила из комнаты плавно и медленно, с достоинством, и Сергей Львович, щурясь, оглядывал ее, будто впервые ее видел. Они уезжали, оставляя за собою содом.

На балах теперь держали себя вольно, даже старики приободрились и молодились.

Иногда ночью дети просыпались и слышали: родители ссорились. Спали далеко за полдень.

Все себя в эти два месяца чувствовали героями дня, людьми на виду, все перепуталось — и старая знать и люди помельче. У всех были надежды. Новая французская живописица Виже-Лебрень писала теперь каждый день портреты модных красавиц и написала в два присеста крохотный портрет Надежды Осиповны, очень милый, с локонами. Сергей Львович был недоволен, что нос горбат, но боялся сказать и хвалил.

Считая, что дворянские вольности избавляют его от дел, Сергей Львович прекратил хождение в должность. День был заполнен и без того. Он даже не успевал справиться со всеми делами. Быстро потрепав детей по щекам, он отправлялся в Охотный ряд. Известные знатоки толпились у ларей, и брюхастые продавцы в синих кафтанах отвешивали поклоны. Все говорили вполголоса. Животрепещущая рыба лежала кучами. Заглядывали в жабры, в глаз, — томный ли, смотрели: перо бледное или красное, принюхивались, обменивались мнениями и новостями. Тут же в ожидании стояли лакеи. Сергей Львович не всегда покупал рыбу, иной раз даже и не собирался. Это было нечто

вроде Английского клуба, приятельские встречи. Приятнее таких встреч, да еще, пожалуй, тайных шалостей, не было в мире. Что перед ними блестящие и непрочные карьеры! Сергей Львович вовсе их и не желал.

Так проходило служебное время. Так шло месяца два и три. Потом Москва несколько угомонилась, все огляделись и заняли свои места. Сергей Львович вдруг стал порой огорчаться: надо же удрать такую дичь: переехать со всею семьею (и не без трудностей — сломалась в пути колымага) за месяц до совершения всего и начала нового века, Александрова. В Петербурге шла теперь раздача чинов и мест истинно умным людям; впрочем, и здесь, в Москве, Николай Михайлович Карамзин в несколько дней приобрел необыкновенный вес и получил два перстня с брильянтами. Сергея же Львовича новое царствование почему-то не коснулось, он в комиссариатском штате, да и туда не ходит, а жена опять на сносях.

Надежда Осиповна действительно была на сносях, и вскоре родился сын. Нарекли его Николаем.

Сергей Львович с изумлением увидел себя отцом разраставшегося семейства. У него не было ясных мыслей по этому поводу, и будущее вдруг стало казаться неверным; события шли одно за другим, застав его непредуготовленным. Вообще все в жизни шло быстро и не давало опомниться. Все, например, позабыли о том, что сестрица Аннет — невеста. Иван Иванович Дмитриев, поэт, купил себе и домик и садик в Москве, но не женился. Марья Алексеевна говорила, когда ее не слышали:

— Никогда и не думал. Приснилось ей.

Сестрица Аннет пожелтела и стала носить темные тона. Волосы взбивала по-прежнему, но стала прилежно ходить в церковь. Она считала себя и братьев жертвами; и Надежда Осиповна и Капитолина Михайловна были не из тех, которые могут устроить счастье. То же втихомолку думал про себя и Сергей Львович. Жена была прекрасная креолка, и все на нее заглядывались. Сергей Львович бледнел от ярости на балах, когда она танцевала с каким-нибудь высоким гвардейцем. Он вполне чувствовал тогда, что его рост мал. А между тем, как она забрюхатела, над ним был учрежден домашний надзор, который становился все тягостнее. Надежда Осиповна стремилась не выпускать из виду Сергея Львовича. Он даже не смел ущипнуть за щеку дворовую девку, — вполне невинная шалость.

В этом неясном состоянии он стремился во что бы то ни стало вон из дому, в гости, от Бутурлиных к Сушковым, от Сушковых к Дашковым, а может к кому и проще, и гораздо проще. По вторникам он ездил в Дворянский клуб. Он искал рассеяния, как будто гнался за потерянным временем или искал забытую вещь. Больше всего он теперь боялся, как бы новые события не отдалили от него друзей и знакомых и как бы знакомцы не возгордились. Небрежный поклон Даш-

кова привел его однажды в трепет. Глядя, как он ускользает со двора, Марья Алексеевна тихонько говорила старую песенку:

Мне моркотно молоденьке,
Нигде места не найду.

К обеду или к вечеру, если обедал не дома, — домашние обеды были довольно скаредные, — он чувствовал зато приятную усталость, вспоминал, зевая, *bon-mots*¹ и нечаянные случаи за день. Надежда Осиповна задумчиво и подозрительно на него поглядывала, и Сергей Львович, заметив недоверие, начинал прильгать. Она не во всем верила Сергею Львовичу и была права. Привыкнув еще с малых лет к рассказам Марьи Алексеевны о скрытности и уловках мужчин, она подозревала, что Сергей Львович имеет какую-либо низкую страсть на стороне. Жизнь с таким мужем была ненадежная. И действительно, Сергей Львович не все блистал в светском обществе, в последнее время он полюбил общество молодых сослуживцев, все по тому же проклятому комиссариатскому штату еще мальчишек по возрасту, но душевно к нему расположенных. Он тайно играл с ними в карты. Устраивались светские игры: бостон, веньтэн, макао и новомодные: штос, три и три. Сергей Львович предавался игре всем существом и трепетал от страсти, открывая карту. Когда он выигрывал, ему хотелось обнять весь мир, и опасался одного: как бы игрок не забыл о долге. Дома он упорно скрывал свои развлечения. Но когда бывал в выигрыше, ему стоило большого труда удержаться и не рассказать Надежде Осиповне. Он позванивал монетками в кармане и кусал себе губы. Потом вздыхал: в его собственном доме его не понимали.

4

Раз в месяц Сергей Львович, приняв озабоченное выражение, выезжал с семьей к матушке Ольге Васильевне, которая жила в Огородной Слободе. Дом ее был большой, холодный, она никуда не выезжала. После жизни, проведенной в больших страстях, она управляла теперь кучей старух и тремя подслеповатыми лакеями. Управлять жизнью сыновей ей было уже не под силу, она только изредка роптала. Дочери были у нее в совершенном подчинении.

В доме была комната, заставленная разным хламом, превращенная в кладовую, куда она никогда не заходила. Сыновья, когда бывали, с привычной детской трусостью косились на запертую дверь: в этой комнате провел последние годы отец. О Льве Александровиче не вспоминали ни Ольга Васильевна, ни сыновья, по молчаливому сговору. Только подслеповатые лакеи иногда под вечер или ночью,

¹ Остроты (*франц.*).

когда не спалось, говорили о нем. Человек он был пылкий и жестокий и первую жену уморил из ревности к итальянцу-учителю, взятому в дом. Она умерла в его домашней тюрьме, в подвале, на соломе, в цепях. Итальянцу же он учинил такие непорядочные побои, что тот тут же на месте и умер.

Ольга Васильевна была его второй женой. Она уцелела. Под конец супруг одичал. Ему была отведена боковая, и Ольга Васильевна стала править домом и детьми. И была самая пора. Лев Александрович вышел в отставку сорока лет, сразу после смерти императора Петра III; он не захотел признать Екатерину императрицей и за это сидел два года в крепости. Выйдя из крепости, он тратил состояние с бешенством и злостью не то на самого себя, не то еще на кого-то. Он был любитель быстрой езды и загнал за свою жизнь конюшню дорогих коней. Встречные сворачивали в канавы, слышав пушкинскую езду. Когда Ольга Васильевна принялась за счета и закладные, она почувствовала трясину под ногами: состояние оползло со всех концов. Она положила этому предел, утихомирила заимодавцев, собрала все, что осталось, и вывела детей в люди. Десять лет назад Лев Александрович умер. Давно дожидаясь этого, Ольга Васильевна после его смерти неожиданно почувствовала пустоту и скуку. Она перестала выезжать из дому и решила, что все равно никого не спасешь, ничего не остановишь, да и не к чему. Со времени мужнина падения Ольга Васильевна не переставала осуждать Екатерину и в особенности Орловых:

— Графы! Конюхи, им с кобылами возиться да на кулачки биться.

Законным царем она считала Петра Третьего и ворчала, когда при ней называли из усердия Екатерину матушкой:

— И матушка и батюшка!

Всю жизнь боясь припадков и странностей мужа, она с огорчением видела, что сыновья не в него, мелки. Строго их одергивая, она была бы, может, и рада, сама того не ожидая, большому с их стороны загулу, буйству или же другим крайностям. Нет! Это все кончилось. Сыновья погуляли.

Старуха протягивала Сергею Львовичу плоскую восковую руку для поцелуя и острыми глазками всматривалась в ненадежного сына. Оба сына были на подозрении в мотовстве и слабости. Она дважды передельвала завещание. Но Василья, Васеньку, она все же почитала, как старшего в семье, и извиняла его неудачи тем, что счастье не служит. О Сергее Львовиче она думала, что просвищется; и очень скоро, в пух. На невестку смотрела с испугом и была уверена, что «Сергея карьер не открывается» именно из-за нее. Детей она осторожно потрепывала по щекам, заглядывала в глаза и, сдержав вздох, тотчас усылала погулять.

— Что им в комнатах шуметь!

Сергей Львович преображался при матушке, как то бывало с ним, когда он приходил в комиссариатский штат. Вид у него был сдержан-

ный. Он рассказывал старухе о Петербурге и придворных новостях и пугал заграничными событиями: говорил о французских победах, о Бонапарте и консульше Жозефине, креолке. Матушка косилась: Сергей Львович сыпал именами самых высоких петербургских людей, как будто только что с ними расстался. Случалось, он поругивал их:

— Се coquin de¹ Кочубей, — говорил он.

Однажды он напугал мать, сильно обругав князя Адама Чарторижского, бывшего в силе.

— Аристократия его фальшивая, — сказал он, — а сам он батард, знаем мы эти дворские гордости. Мать его интриганка и гульливая полька, продалась французам, — вот и все.

Ольга Васильевна расстроилась. Сынок, ни дать ни взять, норovil в крепость, как когда-то отец. И, с другой стороны, какую силу бунтовщики взяли, французы! Сын уже не казался ей более свистуном: в Москве знали, что времена неверные, царь молод, а третья правда у Петра и Павла. Старики теперь падали, молодые возвышались. Вот сидит сын с этим его коком надо лбом и с арапкою своею, а потом, смотришь, и в чести.

Старуха шурила на него глаза. Она была побеждена.

Вечером, лежа в постели, которую ей до того согревала самая толстая девка, Ольга Васильевна говорила своей полуслепой доверенной Ульяшке:

— Арапки теперь большую силу взяли. В Париже у набольшего ихнего, — как зовут, не упомяну, — тоже арапка в женах.

А Ульяшка ей поддакивала:

— Все как один — нового захотели, свежинки.

5

Они жили теперь в порядочном деревянном доме, Юсуповском, рядом с домом самого князя, большого туза. Сергей Львович был доволен этим соседством. Князь, впрочем, редко показывался в Москве. Раз только летом видел Сергей Львович его приезд, видел, как суетился камердинер, открывали окна, несли вещи, и вслед за тем грузный человек с толстыми губами и печальными нерусскими глазами, не глядя по сторонам, прошел в свой дом. Потом князь как-то раз заметил Надежду Осиповну и поклонился ей широко, не то на азиатский, не то на самый европейский манер. Вслед за тем он прислал своего управителя сказать Пушкиным, что дети могут гулять в саду, когда захотят. Князь был известный женский любитель, и Надежде Осиповне было приятно его внимание. Вскоре он уехал.

А управитель был в отчаянии от жильцов.

¹ Этот негодник (франц.).

«Майор господин Пушкин, — писал он в отчете князю, — что в среднем доме, как вперед в мае месяце за месяц уплатил, так почитай уже с полгода ничего не платит, и я трижды заходил, прося уплатить, то велят говорить, что дома нет. И я, вашего сиятельства покорный слуга, прошу мне прислать указ, каково мне именно говорить с майором Пушкиным или совсем от квартиры отказать».

Между тем у Сергея Львовича случилось горе: скончалась матушка Ольга Васильевна. Заболев, она призвала своих сыновей, долго на них глядела и, погрозив обоим пальцем, умерла.

Сергей Львович, схоронив мать, тотчас же переехал в лучший и более просторный дом неподалеку.

У Надежды Осиповны блестели глаза: она любила переезды. Управитель сам помогал возчикам укладывать мебели и утварь. Пользуясь разрешением князя, детей по-прежнему посылали гулять с нянькой Ариной в Юсуповский сад.

6

Сад был великолепный. У Юсупова была татарская страсть к плющу, прохладе и фонтанам и любовь парижского жителя к правильным дорожкам, просекам и прудам. Из Венеции и Неаполя, где он долго был посланником, он привез старые статуи с обвислыми задками и почерневшими коленями. Будучи по-восточному скуп, он ничего не жалел для воображения. Так в Москве, у Харитонья в Огородниках, возник этот сад, пространством более чем на десятину.

Князь разрешал ходить по саду знакомым и людям, которым хотел выказать ласковость; неохотно и редко допускал детей. Конечно, без людей сад был бы в большей сохранности, но нет ничего печальнее для суеверного человека, чем пустынный сад. Знакомые князя, сами того не зная, оживляли пейзаж. Пораженный Западом москвич шел по версальской лестнице, о которой читал или слышал, и его московская походка менялась. Сторожевые статуи встречали его. Он шел вперед и начинал, увлекаемый мерными аллеями, кружить особую стройною походкой вокруг круглого пруда, настолько круглого, что даже самая вода казалась в нем выпуклой, и, спустясь через час все той же походкой к себе в Огородники, он некоторое время воображал себя прекрасным и только потом, заслышав: «Пирог! Пирог!» или повстречав знакомого, догадывался, что здесь что-то неладно, что Версаль не Версаль и он не француз.

Сад был открыт для няньки Арины с барчуками.

Арина смело поднималась по лестнице и строго наблюдала, чтоб барчуки и барышня Ольга Сергеевна чего-нибудь не обронили или не поломали какой балясины. Вид у нее был озабоченный. Избегая смотреть на статуи, она все внимание отдавала пруду.

— И не шелохнется, — говорила она, — в такой воде, батюшка, рыбе скучно. Глянь, какая сытая.

Барчук не хотел смотреть на рыбу, он исподлобья смотрел на Диану. Он знал о ней нечто. Управитель однажды сказал ему, что это — Диана, а в другой раз, что это — Нимфа. Дома он спросил отца, кто такая Диана. Сергей Львович долго смеялся, а потом значительно объяснил, что это одна из богинь Олимпа, девица. Богиня, равнодушно закинув голову, грела на солнце острые соски и тонкие колени. Большой палец ноги был у нее отбит.

— Тьфу! — огорчалась Арина и тихонько сплевывала. — Может, батюшка, побегаετε округ пруда?

Они переходили на просторную площадку, лужок, покрытый жирной травой. Дорожка была усыпана сырым желтым песком. Римский фонтан стоял на самой середине площадки, в каменную чашу спадала стеклом вода.

— Что твоя мельница, — говорила, улыбаясь, Арина. Она любила это место. Фонтан казался ей забавным.

— Богатые татары, батюшка Александр Сергеевич, — говорила она таинственно, — всегда любят, чтоб вода вот так в саду текла.

Он убежал. Нянька возилась с Ольгой Сергеевной, хлопотавшей в песочке, и утирала нос Николаю Сергеевичу.

Он убежал далеко за правильную аллею и шел боковыми дорожками, мимо белых лиц и каменных животов, пока не сбивался с пути. Он издали слышал голоса, зов няньки и не обращал на него никакого внимания. Его искали. Он убегал все глубже. Здесь уж была татарская дичь и глушь, новый правильный сад обрывался — начинался старый. Стволы были покрыты мхом, как пеплом; хворост лежал вокруг статуй. И их глаза с поволокой, открытые рты, их ленивые положения нравились ему. Сомнительные, безотчетные, как во сне, слова приходили ему на ум. Сам того не зная, он долго бессмысленно улыбался и прикасался к белым грязным коленям. Они были безобразно холодные. Тогда, ленивый, угрюмый, он брел к пруду, к няньке Арине.

Лето было душливое; Москва, как Самарканд, сгорала от жары. Листья висели неживые, запылились. Сергею Львовичу староста из Болдина доносил, что хлеб сгорел. Надежда Осиповна в одной сорочке бродила по полутемным комнатам: днем запирались ставни.

Осенью земля долго не остывала. Дети целые дни проводили в Юсуповом саду. Правильные луга и воды умеряли все, даже самую жару.

Было два часа пополудни, сонное время. Арина дремала на скамье, полуоткрыв рот. Вдруг нечувствительно набежал ветер, листья зашевелились на деревьях. Он увидел, как тонкое каменное тело дважды покачнулось вперед, как будто пошло на него. Сердце его остановилось. Николай и Ольга заплакали. Арина проснулась. Бессмыс-

ленно лукавя, он притворился перед нянькою, что все время смотрел на пруд.

Они пошли домой. Только к вечеру вестовщики разнесли, что в Москве в этот день было землетрясение. Вечером стоял большой туман. Ночью он не спал и прислушивался. Глубоко, протяжно дышала Арина, словно пела. Потом слышались за дверью босые тяжелые шаги, словно шел крупный зверь: мать бродила по комнатам. Потом она звенела стаканом, пила воду и тяжело дышала. Отец что-то сказал или позвал ее издалека, она в ответ засмеялась. Потом босые емкие шаги опять пошли отдаваться по комнатам. Он заснул.

Пять дней в Москве стоял густой туман, и люди натякались друг на друга. Кругом только и говорили, что о землетрясении. В стене одного погреба нашли трещины, и их ходили смотреть, как достопримечательность. На Трубе оказалась яма в аршин шириной. Бабушка Марья Алексеевна утверждала, что чувствовала, как земля дрожит.

— Только что Николашке наказала пастет запекать, — села, вижу: стол, как студень, ходит, — говорила она, сама сомневаясь.

Единственно крепкою верою в доме Пушкиных была вера в приметы и гаданья. Марья Алексеевна, если встречала бабу с пустыми ведрами, тотчас возвращалась домой. Надежда Осиповна боялась сглаза. Девушкою она всегда на святках лила воск и нагадала суженого с острым носом. Даже Сергей Львович, встречая попа, тихонько складывал кукиш. О чудесных совпадениях бабушка Марья Алексеевна рассказывала по вечерам, не торопясь.

Теперь все в доме имели суровое выражение: землетрясение было не к добру. Сам Карамзин должен был разъяснить в особой статье жителям Москвы, что землетрясение — явление мира физического. Но моральные струны у него самого трепетали. Напрасно он призывал всех наслаждаться жизнью, как делают жители островов Антильских, Филиппинских, Архипелага, Сицилии, особливо Японии, где землетрясение бывает чуть ли не каждый день, — как в Москве гроза летом. Тут же он некстати упомянул о землетрясении, которое до того было в Москве при Василье Темном, когда Москва сгорела дотла.

Физическое же объяснение еще более напугало и Марью Алексеевну и Надежду Осиповну: что это огонь теснит воздушные массы, заключенные, как в тюрьме, в глубине земли, и они с бурным стремлением ищут себе выхода. И что московское землетрясение — это другого, что удары всегда имеют один центр, что в земле есть пустоты, имеющие сообщение между собою, в которых свирепствует воспаленный воздух. И что две части мира могут колебаться на разных концах в одно время! Таково было местоположение всех городов на земле, в том числе и Москвы, с Неглинной и Яузой. Единственное утешение было, что, как Николай Михайлович полагал, может пройти и три с половиной века до нового землетрясения, — как от Василия Темного прошло, — а стало быть, на их жизнь хватит.

Надежда Осиповна воображала по ночам, как огонь ходит по пустым коридорам, вроде их коридора, и толкала в бок Сергея Львовича. Она говорила, что люди непременно подождут, что Николашка сегодня смотрел, как бриган с галеры, и плакалась, что у слабых бар всегда дворня — разбойники. Такие разговоры ходили теперь по Москве. Сергей Львович ожесточенно сопел и засыпал.

На третий день повар Николашка напился пьян и выпил в людской за здоровье консула Наполеона, Сергей Львович приказал отодрать его и лично распорядился в конюшне наказанием.

Потом туман исчез, все стояло на своем месте, землетрясение забыто.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Сестрица Аннет не вышла замуж, матушка скончалась, произошло землетрясение, и вскоре случился переворот в жизни Василья Львовича, все в том же году. Жена покинула его, они разъехались.

Сестрица Аннет нашла свое призвание. Она и Елизавета Львовна пришли в волнение, разъезжали непрерывно от Василья Львовича к Сергею Львовичу и даже ездили гадать к одной московской ворожее.

Василий Львович был растерян и потирал лоб.

Дважды при посторонних начинал рыдать; ему оказывали помощь, он тотчас охотно, долго пил воду и затем махал рукой в отчаянии или недоумении.

Все рушилось.

— Первый раз в жизни случается, — говорил он простодушно.

Наиболее строгими в семье защитниками чести старшего брата явились Сергей Львович и сестрица Аннет. Имя Капитолины Михайловны забыто и изгнано; она звалась: злодейка. Когда заходила о ней речь, Анна Львовна шикала и высылала вон детей, а Сергей Львович шурился значительно.

Из объяснений Василья Львовича, ахов, охов, всплесков, восклицаний и лепета, — ничего нельзя было понять. Впрочем, во всем остальном он был прежний: много ел, завивался и даже между слез сказал экспромт.

— Душа моя, душенька, Basile, припомни, с чего началось, — просила его сестрица Анна Львовна.

И Василий Львович припомнил. Участились посещения кавалергарда князя В., — Василий Львович так и сказал: князя В., prince Double W. Он заподозрил, стал увещевать, увещевал — и однажды не застал ее дома. Бегство из дому он, брызгая слюной, не мог объяснить ничем иным, как изменой. Жена, по его мнению, собирается

даже замуж за другого. Это было неслыханно. Жена от живого мужа собиралась замуж.

Сергей Львович отрывисто сказал:

— Имя.

Он требовал имени соблазнителя.

На вопрос Василья Львовича, на что ему имя, Сергей Львович ответил холодно:

— Для дуэли.

Василий Львович, избегая смотреть в глаза брату, отказался называть имя.

Он не уверен, точно ли это князь В., — сказал он. — Может быть, князь В. был лишь для отводу глаз, подставное лицо. Хотя он однажды, точно, тьютоировал ее, говорил ей: ты, но все остальное неизвестно.

— Он ее тьютоировал? — медленно спросила Анна Львовна, — в твоём присутствии?

— Да, но он кузен, — ответил Василий Львович с блуждающим взглядом.

— *Le cousinage est un dangereux voisinage*¹, — пропела тонким голосом Анна Львовна, сжав губы. Лицом она была решительно похожа в это мгновение на католического прелата.

— Он-то, может, мой дружок, ее только тьютоировал, но она-то, — вспомни, душа моя, — она-то, может стать, строила куры?

В присутствии Василья Львовича, щадя его, Анна Львовна никогда не называла золовку злодейкой и говорила просто: она.

Вообще здесь была какая-то тайна. Горничная Аннушка, или, как Анна Львовна ее называла, Анка, ходила тихонько, с заплаканными глазами, с новой нарядной брошью. Она была, как всегда, мила, бела и дородна. Анна Львовна выслала ее вон, причем Василий Львович как-то вдруг моргнул и шмыгнул носом.

Внезапно Василий Львович, не глядя никому в глаза, но довольно ясно, заявил, что претензий у него на жену никаких нет; что, не зная в подлинности дела, он желает одного: чтобы жена вернулась, и что он с ней разводиться никак не желает; напротив того, на будущее время хочет жить с ней неразлучно; что он муж и христианин и готов на все.

Сергей Львович был глубоко тронут.

— Мой ангел, — сказала Аннет.

Василий Львович твердым голосом повторил, что он прежде всего муж и христианин. Он заметно ободрился и тут же, надев новый синий фрак и опрыскав себя духами, пошел гулять по бульварам, в первый раз после происшествия.

Сергей Львович отменил свое решение о дуэли. Решено вступить с непокорною в переговоры. Надежду Осиповну уполномочили поведаться с преступницей и увещевать.

¹ Родство — опасное соседство (*франц.*).

Надежда Осиповна против ожидания вернулась с каменным лицом и сухо, даже с каким-то злорадством, сказала, что Капитолина Михайловна не вернется никогда, что она готова умереть в монастыре, на соломе и питаться аредами...

— Акридами, — поправил Сергей Львович.

— ...чем вернуться в этот дом.

Потом Надежда Осиповна пошептала с сестрицей Аннет, и сестрица Аннет всплеснула руками.

— Если вы, Nadine, можете верить злодейке, — сказала она, — бойтесь за себя!

И брат с сестрой тотчас же поехали к Василию Львовичу.

В Василье Львовиче в этот вечер они застали разительную перемену: он опять малодушествовал, бегал по комнате и стонал. Испугавшись за его жизнь, Анна Львовна уложила его в постель. У него, видимо, начиналась горячка. Слабым голосом Василий Львович потребовал Аннушку. Несмотря на противодействие Сергея Львовича, Аннушка приведена. Анна Львовна даже усадила ее у постели больного — как сиделку. Послано за доктором.

Доктор объявил жизнь Василья Львовича вне опасности. Горячка не открылась, но Василий Львович к вечеру сказал сестре, что он пропал.

Он рассказал, что к нему явился посланец от Капитолины Михайловны или, может быть, от князя W., — он не желает об этом знать, — и вынудил у него письмо. Упомянув о письме, Василий Львович стал метаться на своем ложе. Анна Львовна sprysнула его водой. Отойдя немного, Василий Львович признался, что в письме он взвел на себя чудовищный поклеп и совершенную напраслину, скрепив все своею подписью.

— Аннушка, выдь, — сказала строго Анна Львовна. — Но, мой дружок, душенька Базиль, как же вы написали такое?

— В полном беспамятстве, — сказал, разведя руками, Василий Львович.

Тут он соскочил с постели и сказал сестре с необычайной живостью:

— Развода нет и не будет — в наказанье, — суда не боюсь, милостивая государыня, и еще увидим!

2

К Капитолине Михайловне послан для переговоров Сонцев. Матвей Михайлович вернулся, пыхтя, и сказал, что сам поверить своим глазам не может: ему показывали письмо, и в письме рукою Василья Львовича ясно написано, что как Василий Львович уже два года и один месяц состоит в противозаконной связи со своею крепостной девкой, то не может по совести противиться разлучению с ним суп-

руги его и дает ей полную мочь делать, что хочет, и даже выйти замуж, за кого ей будет угодно.

Василий Львович сказал, морщась:

— Не помню. Полнейшее забытье и беспамятство. И вовсе не похоже на правду ничего не помню.

Он было застонал, но уж гораздо легче, чем в первый раз, и вскоре натура взяла свое, — на завтра же пошел он, как ни в чем не бывало, гулять и стал выезжать в театры.

Общее любопытство, однако, было сильно возбуждено. Распространился слух, что Василий Львович в самом деле сожительствоет с некоей горничной Анной.

Даже толстяк Сонцев однажды вечером, сидя в семейном кругу, рядом с сестрицей Аннет, когда речь зашла о Василье Львовиче, зажмурился, колыхнул животом и сказал, что у Василия Львовича всегда была эта народная русская фибра, жилка, Василий Львович, мол, всегда любил эту известную женскую простоту. Сестрица Аннет тотчас попросила его замолчать.

Василью Львовичу приходилось раз по пяти на день клясться своим приятелям, что он нимало не виноват, но приятели, лстя его самолюбию, называли его селадонном, фоблазом и усмехались.

Василий Львович с ужасом почувствовал, что его прежняя приятная репутация стихотворца, человека самого по себе, и не без веса, колеблется. Его вдруг стали тютюировать, — говорить ему ты, попросту тыкать, — люди, с которыми он вовсе не был короток.

Слава петербургского бригаана с галеры была очень приятна в Москве, когда относилась к прошлому, так сказать, окружала его издалека. Нынче же она была вовсе неуместна: Василью Львовичу иногда уже мерещился камергерский ключ; он не хотел зваться какого-то фоблаза и, наконец, в самом деле, по его словам, был не так уж виноват. Во всем виноваты были несчастные обстоятельства.

Он никак не желал этой близости со всеми молокососами, которая грозила ему после скандала. О нем шептались, на него указывали пальцами.

Желая прекратить такое двусмысленное положение, Василий Львович, внутренне негодуя на жену, обратился лично к тестю. Тесть его, старый переводчик, человек в своем роде почтенный, но медленного соображения и незначительный, был перед Васильем Львовичем в долгу: только за год до того Василий Львович сработал для глухого тестева издания «Приношение религии» два вполне приличных духовных стихотворения: «О ты, носившая меня в своей утробе» и о «Жене, грехами отягченной». Второе стихотворение было трогательное и, начинаясь описанием этой блудной жены:

Жена, грехами отягченна,
К владыке своему течет бледна, смущенна, —

кончалось ее полным прощением.

Василий Львович приготовился в разговоре с тестем применить это стихотворение к Капитолине Михайловне.

Но дурак тесть его не принял.

Все попытки взять важный тон и отстранить от себя назойливое любопытство молокососов не привели ни к чему: важный тон сам Василий Львович выдерживал не более получаса, молокососы все более набивались в друзья.

Наконец, он увидел себя сказкою всего города.

Тем временем Капитолина Михайловна подала прошение о разводе в суд.

Василий Львович этого не ожидал. Он кое-как отписался, откупился, но жить в Москве становилось ему трудней день ото дня. Даже сестрица Аннет, девотка, негодуя на злодейку, стала ворчать втихомолку и на Василья Львовича, а Сергей Львович решительно отстранился: пожимал плечами и уклонялся, когда его спрашивали о брате, притворяясь непонимающим, а с братом стал разговаривать отрывисто.

Однажды, вернувшись домой из театра, Василий Львович нашел в кармане бумажку, на которой было аккуратным детским почерком написано известное стихотворение Грекура о служанке, в неизвестном переводе: «Пусть, кто хочет, строит куры всем прелестницам двора, для моей нужно натуры, чтоб от утра до утра, забывая ночь ненастну, целовать служанку прекрасну». Василий Львович обомлел.

Перевод был решительно дурной, бессмысленный, с ошибкой против меры. Без сомнения, это было делом рук юных негодяев, набивавшихся в друзья, а чтобы не возбудить подозрений, они дали дитяти переписать стишки. При всем негодовании Василий Львович тут же исправил безграмотный последний стих на другой, гораздо лучший: «Лобызать служанку страстную — и только потом изорвал бумажку в мелкие клочки.

Хуже всего было то, что к московским юнцам пристал его близкий приятель, товарищ молодости и собутыльник по петербургской «галере», родственник и однофамилец, Алексей Михайлович Пушкин. Алексей Михайлович был существо необыкновенное. Отец его и дядя были шельмованы и сосланы в Сибирь по суду как делатели фальшивой монеты, и их приказано было именовать: «Бывшие Пушкины». Сын бывшего Пушкина воспитывался у чужих людей и неосновательностью характера напоминал отца. Более того, эту неосновательность он возвел в закон и правило. Он проповедовал в гостиных афеизм, — что все в жизни есть одно воображение, туман и ничего более. В Москве он имел решительный успех и скоро стал незаменим в играх и спектаклях. Он был желчен и зол, но в злости его было нечто забавное.

Встречаясь с Васильем Львовичем в театрах и свете, он усвоил себе особую привычку изводить его намеками и остротами, вместе с

тем слишком бурно проявляя любовь и дружбу. Он обнимал его, прижимал к груди, крепко целовал, потом строго смотрел в глаза ошавшему Василью Львовичу и говорил, содрогаясь:

— О, все тот же! Шелопут! Соблазнитель! — и тотчас отталкивал его, как бы боясь прикосновенья.

Духовные стихи Василья Львовича, изготовленные им для тестя, вызывали самую неприличную веселость Алексея Михайловича. На людном балу у Бутурлиных, стоя рядом с Васильем Львовичем и отозвавшись о стихах с горячею похвалою, он вдруг неожиданно громко прошипел в сторону, а *parte*:¹

— Тартюф!

Василий Львович решительно уклонялся от всяких встреч с кузеном, но, после того как развод его огласился, от афеиста-кузена не стало житья. Он громко вздыхал, завидя Василья Львовича в обществе, и сурово грозил ему пальцем. Василий Львович стал подозревать, что стишки были посланы также не без содействия кузена.

Скандалная слава ему прискучила. Самолюбие его было пресыщено.

3

Василий Львович всем объявил, что едет в Париж.

Кто из приятелей верил, кто не верил; но общее любопытство было занято. Сергей Львович в глубине души не верил. В Москве только и было разговоров, что о поездке Василья Львовича. Юные бездельники-друзья ставили на него куши — поедет или останется?

На одном балу Василий Львович слышал, как старый князь Долгоруков сказал своему собеседнику:

— Покажи, милый, где Пушкин, что в Париж едет?

Василий Львович притворился, что не слышит, сердце его с приятностью замерло, он ослабилась, — что ни говори, это была слава.

— Невидный, — сказал князь, — что ему Париж дался?

Так Василий Львович оказался вынужден в самом деле хлопотать о разрешении посетить Париж с целью лечения у тамошних известных медиков. Неожиданно разрешение получено.

Василий Львович преобразился. Он вдруг стал степенным, как никогда, как будто шагал уже не по Кузнецкому Мосту, а по Елисейским Полям. Для того, чтобы не ударить в Париже лицом в грязь, он каждый день что-либо покупал на Кузнецком Мосту во французских лавках — и накупил тьму стальных цепочек с фигурками, платочков, тросточек. При встречах его спрашивали с уважением, с завистью:

— Вы все еще здесь? А мы думали, вы уже в Париже.

Теперь не только юные бездельники, но и старые друзья вновь

¹ В сторону (*лат.*).

заинтересовались им. Карамзин наказывал немедля, как приедет в Париж, писать и прислать ему письма для печати.

— Я буду писать решительно обо всем на свете, — твердо обещал Василий Львович.

Наконец срок отъезда назначен. Общее участие в сборах вознаградило Василья Львовича за месяц болезненных припадков.

За три дня до отъезда Иван Иванович Дмитриев, который тоже был задет за живое поездкой Василья Львовича, написал поэму: *Путешествие Н. Н. в Париж и Лондон*: «Друзья, сестрицы, я в Париже!»

Поэма тотчас разошлась по рукам, скорей, чем ведомости. Стихи были гораздо лучше всего того, что поэт писал в важном роде; они были в совершенно новом, живом и болтливом роде. Так не только стихотворения, но и самые приключения Василья Львовича давали новую жизнь поэзии.

Один из юных бездельников сунул-таки новую поэму Василью Львовичу, сказав, что это — так, безделка.

Василий Львович впопыхах забыл о ней. Вечером, усевшись у окна и смотря на всегдашний вид улицы, он хотел было писать элегию, но элегия не пошла. Ему стало в самом деле грустно, а в грустном расположении он никогда не писал элегий.

Тут он вспомнил о безделке, данной ему утром приятелем. С первых же строк он понял, в кого автор метит: это было воображаемое путешествие самого Василья Львовича. Н. Н. и был Василий Львович. Он усмехнулся. Это была слава.

Все тропки знаю булеvara,
Все магазины новых мод...

Часть вторая его несколько огорчила: Василий Львович будто жил в Париже — в шестом этаже.

— Вот и видно, что в Париже не бывал, — сказал, усмехаясь, Василий Львович, — там и дома-то в шесть этажей не часто встретишь, а на чердаках отроду не живал.

Затем говорилось, правда мило, и о слабостях его:

Я, например, люблю, конечно,
Читать мои куплеты вечно, —
Хоть слушай, хоть не слушай их...

— Куплетов не пишу, — сказал тихонько, с бледной улыбкой Василий Львович, — а элегии... или басни... как и вы, Иван Иванович.

Люблю и странным я нарядом,
Лишь был бы в моде, шеголять...

— Как все французы, — еще тише сказал Василий Львович.

Какие фраки, панталоны!
Всему новейшие фасоны...

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОДПОРУЧИК КИЖЕ

1

Император Павел дремал у открытого окна. В послеобеденный час, когда пища медленно борется с телом, были запрещены какие-либо беспокойства. Он дремал, сидя на высоком кресле, заставленный сзади и с боков стеклянной ширмой. Павлу Петровичу снился обычный послеобеденный сон.

Он сидел в Гатчине, в своем стриженном садике, и округлый купидон в углу смотрел на него, как он обедает с семьей. Потом издали пошел скрип. Он шел по ухабам, однообразно и подпрыгивая. Павел Петрович увидел вдаль треуголку, конский скок, оглобли одноколки, пыль. Он спрятался под стол, так как треуголка была — фельдъегерь. За ним скакали из Петербурга.

— *Nous sommes perdus...*¹ — закричал он хрипло жене из-под стола, чтобы она тоже спряталась.

Под столом не хватало воздуха, и скрип уже был там, одноколка оглоблями лезла на него.

Фельдъегерь заглянул под стол, нашел там Павла Петровича и сказал ему:

— Ваше величество. Ее величество матушка ваша скончалась.

Но как только Павел Петрович стал вылезать из-под стола, фельдъегерь щелкнул его по лбу и крикнул:

— Караул!

Павел Петрович отмахнулся и поймал муху.

Так он сидел, выкатив серые глаза в окно Павловского дворца, задыхаясь от пищи и тоски, с жужжащей мухой в руке, и прислушивался.

Кто-то кричал под окном «караул».

2

В канцелярии Преображенского полка военный писарь был послан в Сибирь, по наказанию.

Новый писарь, молодой еще, мальчик, сидел за столом и писал. Его рука дрожала, потому что он запоздал.

¹ Мы погибли (*фр.*).

Нужно было кончить перепиской приказ по полку ровно к шести часам, для того чтобы дежурный адъютант отвез его во дворец и там адъютант его величества, присоединив приказ к другим таким же, представил императору в девять. Опоздание было преступлением. Полковой писарь встал раньше времени, но испортил приказ и теперь делал другой список. В первом списке сделал он две ошибки: поручика Синюхаева написал умершим, так как Синюхаев шел сразу же после умершего майора Соколова, и допустил нелепое написание — вместо «Подпоручики же Стивен, Рыбин и Азанчеев назначаются» написал: «Подпоручик Кижэ, Стивен, Рыбин и Азанчеев назначаются». Когда он писал слово «*Подпоручики*», вошел офицер, и он вытянулся перед ним, остановясь на *к*, а потом, сев снова за приказ, напутал и написал: «*Подпоручик Кижэ*».

Он знал, что если к шести часам приказ не успеет, адъютант крикнет: «Взять», и его возьмут. Поэтому его рука не шла, он писал все медленнее и медленнее и вдруг брызнул большую, красивую, как фонтан, кляксу на приказ.

Оставалось всего десять минут.

Откинувшись назад, писарь посмотрел на часы, как на живого человека, потом пальцами, как бы отделенными от тела и ходившими по своей воле, он стал рыться в бумагах за чистым листом, хотя здесь чистых листов вовсе не было, а они лежали в шкапу, в большом аккурате сложенные в стопку.

Но так, уже в отчаянии и только для последнего приличия перед самим собою роясь, он вторично остолбенел.

Другая, не менее важная бумага была написана тоже неправильно.

Согласно императорского предложения за № 940 о неупотреблении слов в донесениях, следовало не употреблять слова «обозреть», но *осмотреть*, не употреблять слова «выполнить», но *исполнить*, не писать «стража», но *караул*, и ни в коем случае не писать «отряд», но *деташемент*.

Для гражданских установлений было еще прибавлено, чтобы не писать «степень», но *класс*, и не «общество», но *собрание*, а вместо «гражданин» употреблять: *купец* или *мещанин*.

Но это уже было написано мелким почерком, внизу распоряжения № 940, висящего тут же на стене, перед глазами писаря, и этого он не читал, но о словах «обозреть» и прочая он выучил в первый же день и хорошо помнил.

В бумаге же, приготовленной для подписания командиру полка и направляемой барону Аракчееву, было написано:

Обозрев, по поручению вашего превосходительства, *отряды стражи*, собственно для несения пригородной при Санкт-Петербурге и выездной служб назначенные, донести честь имею, что все сие *выполнено...*

И это еще не все.

Первая строка им же самим давеча переписанного донесения изображена была:

Ваше Превосходительство Милостивый Государь.

Для малого ребенка уже было небезызвестно, что обращение, в одну строку написанное, означало приказание, а в донесениях лица подчиненного, и в особенности такому лицу, как барон Аракчеев, можно было писать только в двух строках:

*Ваше Превосходительство
Милостивый Государь,*

что означало подчинение и вежливость.

И если за *обозрев* и прочая могло быть ему поставлено в вину, что он не заметил и вовремя не обратил внимания, то с *Милостивым Государем* напутал при переписке именно он сам.

И, уж более не сознавая, что делает, писарь сел исправить эту бумагу. Переписывая ее, он мгновенно позабыл о приказе, хотя тот был много спешнее.

Когда же от адъютанта прибыл за приказом вестовой, писарь посмотрел на часы и на вестового и вдруг протянул ему лист с умершим поручиком Синюхаевым.

Потом сел и, все еще дрожа, писал: *превосходительства, detaше-менты караула.*

3

Ровно в девять часов прозвонил во дворце колокольчик, император дернул за шнурок. Адъютант его величества ровно в девять часов вошел с обычным докладом к Павлу Петровичу. Павел Петрович сидел во вчерашнем положении, у окна, заставленный стеклянную ширмой.

Между тем он не спал, не дремал, и выражение его лица было также другое.

Адъютант знал, как и все во дворце, что император гневен. Но он равным образом знал, что гнев ищет причин и чем более их находит, тем более воспламеняется. Итак, доклад ни в каком случае не мог быть пропущен.

Он вытянулся перед стеклянной ширмой и императорской спиной и отрапортовал.

Павел Петрович не повернулся к адъютанту. Он тяжело и редко дышал.

Весь вчерашний день не могли доискаться, кто кричал под его окном «караул», и ночью он два раза просыпался в тоске.

«Караул» был крик нелепый, и вначале у Павла Петровича был гнев небольшой, как у всякого, кто видит дурной сон и которому помешали досмотреть его до конца. Потому что благополучный конец сна все же означает благополучие. Потом было любопытство: кто и зачем кричал «караул» у самого окна? Но когда во всем дворце, метавшемся в большом страхе, не могли сыскать того человека, гнев стал большой. Дело оборачивалось так: в самом дворце, в послеобеденное время, человек мог причинить беспокойство и остаться неразысканным. Притом же никто не мог знать, с какою целью было крикнуто: «Караул». Может быть, это было предостережение раскаявшегося злоумыслителя. Или, может быть, там, в кустах, уже трижды обысканных, сунули человеку глухой кляп в глотку и удушили его. Он точно провалился сквозь землю. Надлежало... Но что надлежало, если тот человек не разыскан.

Надлежало увеличить караулы. И не только здесь.

Павел Петрович, не оборачиваясь, смотрел на четырехугольные зеленые кусты, такие же почти, как в Трианоне. Они были стриженные. И, однако же, неизвестно, кто в них был.

И, не глядя на адъютанта, он закинул назад правую руку. Адъютант знал, что это означает: во времена большого гнева император не оборачивался. Он ловко всунул в руку приказ по гвардии Преображенскому полку, и Павел Петрович стал внимательно читать. Потом рука опять откинулась назад, и адъютант, изловчившись, без шума поднял перо с рабочего столика, обмакнул в чернильницу, стряхнул и легко положил на руку, замавав себя чернилами. Все у него заняло мгновение. Вскоре подписанный лист полетел в адъютанта. Так адъютант стал подавать листы, и подписанные или просто читанные листы летели один за другим в адъютанта. Он стал уже привыкать к этому делу и надеялся, что так сойдет, когда император соскочил с возвышенного кресла.

Маленькими шагами он подбежал к адъютанту. Лицо его было красно, и глаза темны.

Он приблизился вплотную и понюхал адъютанта. Так делал император, когда бывал подозрителен. Потом он двумя пальцами крепко ухватил адъютанта за рукав и ушипнул.

Адъютант стоял прямо и держал в руке листы.

— Службы не знаешь, сударь, — сипло сказал Павел, — сзади заходишь.

Он щипнул его еще разок.

— Потемкинский дух вышибу, ступай.

И адъютант задом удалился в дверь.

Как только дверь неслышно затворилась, Павел Петрович быстро размотал шейный платок и стал тихонько раздирать на груди рубашку, рот его перекосялся и губы задрожали.

Начинался *великий гнев*.

4

Приказ по гвардии Преображенскому полку, подписанный императором, был им сердито исправлен. Слова: *Подпоручик Кижее, Стивен, Рыбин и Азанчеев назначаются* император исправил: после первого *к* вставил преогромный *ер*, несколько следующих букв похерил и сверху надписал: *Подпоручик Кижее в караул*. Остальное не встретило возражений.

Приказ был передан.

Когда командир его получил, он долго вспоминал, кто таков подпоручик со странной фамилией Кижее. Он тотчас взял список всех офицеров Преображенского полка, но офицер с такой фамилией не значился. Не было его даже и в рядовых списках. Непонятно, что это было такое. Во всем мире понимал это верно один писарь, но его никто не спросил, а он никому не сказал. Однако же приказ императора должен был быть исполнен. И все же он не мог быть исполнен, потому что нигде в полку не было подпоручика Кижее.

Командир подумал, не обратиться ли к барону Аракчееву. Но тотчас махнул рукой. Барон Аракчеев проживал в Гатчине, да и исход был сомнителен.

А как всегда в беде было принято бросаться к родне, то командир быстро счелся родней с адъютантом его величества Саблуковым и поскакал в Павловское.

В Павловском было большое смятение, и адъютант сначала вовсе не хотел принять командира.

Потом он брезгливо выслушал его и уже хотел сказать ему черта, и без того дела довольно, как вдруг насупился, метнул взгляд на командира, и взгляд этот внезапно изменился: он стал азартным.

Адъютант медленно сказал:

— Императору не доносить. Считать подпоручика Кижее в живых. Назначить в караул.

Не глядя на обмякшего командира, он бросил его на произвол судьбы, подтянулся и зашагал прочь.

5

Поручик Синюхаев был захудалый поручик. Отец его был лекарь при бароне Аракчееве, и барон, в награждение за пилюли, восстановившие его силы, тишком сунул лекарского сына в полк. Прямолинейный и неумный вид сына понравился барону. В полку он ни с кем не был на короткой ноге, но и не бегал от товарищей. Он был неразговорчив, любил табак, не махался с женщинами и, что было не вовсе бравым офицерским делом, с удовольствием играл на «гобое любви».

Амуниция его была всегда начищена.

Когда читался приказ по полку, Синюхаев стоял и, как обычно, вытянувшись в струнку, ни о чем не думал.

Внезапно он услышал свое имя и дрогнул ушами, как то случается с задумавшимися лошадьми от неожиданного кнута.

«Поручика Синюхаева, как умершего горячком, считать по службе выбывшим».

Тут случилось, что командир, читавший приказ, невольно посмотрел на то место, где всегда стоял Синюхаев, и рука его с бумажным листом опустилась.

Синюхаев стоял, как всегда, на своем месте. Однако вскоре командир снова стал читать приказ — правда, уже не столь отчетливо, — прочел о Стивене, Азанчееве, Киже и дочитал до конца. Начался развод, и Синюхаеву должно было вместе со всеми двигаться в фигурных упражнениях. Но вместо того он остался стоять.

Он привык внимать словам приказов как особым словам, не похожим на человеческую речь. Они имели не смысл, не значение, а собственную жизнь и власть.

Дело было не в том, исполнен приказ или не исполнен. Приказ как-то изменял полки, улицы и людей, если даже его и не исполняли.

Когда он услышал слова приказа, он сначала остался стоять на месте, как недослышавший человек. Он тянулся за словами. Потом перестал сомневаться. Это о нем читали. И, когда двинулась его колонна, он начал сомневаться, жив ли он.

Ощущая руку, лежащую на эфесе, некоторое стеснение от туго стянутых портупейных ремней, тяжесть сегодня утром насаленной косы, он как будто и был жив, но вместе с тем он знал, что здесь что-то неладно, что-то непоправимо испорчено. Он ни разу не подумал, что в приказе ошибка. Напротив, ему показалось, что он по ошибке, по оплошности жив. По небрежности он чего-то не заметил и не сообщил никому.

Во всяком случае он портил все фигуры развода, стоя столбиком на площади. Он даже не подумал шелохнуться.

Как только кончился развод, командир налетел на поручика. Он был красен. Было настоящим счастьем, что на разводе не было по случаю жаркого времени императора, отдохавшего в Павловском. Командир хотел рявкнуть: на гауптвахту, — но для исхода гнева нужен был более раскатистый звук, и он уже хотел пустить на *pp*: под арест, — как вдруг рот его замкнулся, словно командир случайно поймал им муху. И так он стоял перед поручиком Синюхаевым минуты две.

Потом, отшатнувшись, как от зачумленного, он пошел своим путем.

Он вспомнил, что поручик Синюхаев, как умерший, отчислен от службы, и сдержался, потому что не знал, как говорить с таким человеком.

Павел Петрович ходил по своей комнате и изредка останавливался. Он прислушивался.

С тех пор как император в пыльных сапогах и дорожном плаще

прогремел шпорами по зале, в которой еще хрипела его мать, и хлопнул дверью, было наблюденно: большой гнев становился великим гневом, великий гнев кончался через дня два страхом или умилением.

Химеры по лестницам делал в Павловском дикий Бренна, а плафоны и стены дворца делал Камерон, любитель нежных красок, которые мрут на глазах у всех. С одной стороны — разинутые пасти вздыбленных и человекообразных львов, с другой — изящное чувство.

Кроме того, в дворцовом зале висели два фонаря, подарок незадолго перед тем обезглавленного Людовика XVI. Этот подарок получил он во Франции, когда еще странствовал под именем графа Северного.

Фонари были высокой работы; стенки были таковы, что смягчали свет.

Но Павел Петрович избегал зажигать их.

Также часы, подарок Марии-Антуанетты, стояли на яшмовом столе. Часовая стрелка была золотым Сатурном с длинной косой, а минутная — амуrom со стрелю.

Когда часы били полдень и полночь, Сатурн заслонял косой стрелю амура. Это значило, что время побеждает любовь.

Как бы то ни было, часы не заводились.

Итак, в саду был Бренна, по стенам Камерон, а над головой, в подпотолочной пустоте качался фонарь Людовика XVI.

Во время великого гнева Павел Петрович приобретал даже некоторое наружное сходство с одним из львов Бренны.

Тогда, как с неба при ясной погоде, рушились палки на целые полки, темною ночью при свете факелов рубили кому-то голову на Дону, маршировали пешком в Сибирь случайные солдаты, писаря, поручики, генералы и генерал-губернаторы.

Похитительница престола, его мать, была мертва. Потемкинский дух он вышиб, как некогда Иван Четвертый вышиб боярский. Он разметал потемкинские кости и сровнял его могилу. Он уничтожил самый вкус матери. Вкус похитительницы! Золото, комнаты, выложенные индийским шелком, комнаты, выложенные китайской посудой, с голландскими печами, — и комната из синего стекла — табакерка. Балаган! Римские и греческие медали, которыми она хвасталась! Он велел употребить их на позолоту своего замка.

И все же дух остался, привкус остался.

Им пахло кругом, и поэтому, может быть, Павел Петрович имел привычку приноживаться к собеседникам.

А над головой качался французский висельник, фонарь.

И наступал страх. Императору не хватало воздуха. Он не боялся ни жены, ни старших сыновей, из которых каждый, вспомнив пример веселой бабушки и свекрови, мог его заколоть вилокю и сесть на престол.

Он не боялся подозрительно веселых министров и подозрительно

мрачных генералов. Он не боялся никого из той пятидесятимиллионной черни, которая сидела по кочкам, болотам, пескам и полям его империи и которую он никак не мог себе представить. Он не боялся их, взятых в отдельности. Вместе же это было море, и он тонул в нем.

И он приказал окопать свой петербургский замок рвами и форпостами и вздернуть на цепи подъемный мост. Но и цепи были неверны — их охраняли часовые.

И когда великий гнев становился великим страхом, начинала работать канцелярия криминальных дел, и кого-то подвешивали за руки, и под кем-то проваливался пол, а внизу его ждали заплечные мастера.

Поэтому, когда из императорской комнаты слышались то маленькие, то растянутые, внезапно спотыкливые шаги, все переглядывались с тоской и редко кто улыбался.

В комнате великий страх.

Император бродит.

7

Поручик Синюхаев стоял на том самом месте, где налетел на него распекателем и не распек и так внезапно остановился командир.

Вокруг него никого не было.

Обычно после развода он расправлялся, сбавлял выправку, руки размякали, и он шел в казармы вольно. Каждый член становился вольным: он становился партикулярным.

Дома, в офицерской казарме, поручик расстегивал сюртук и играл на «гобое любви». Потом набивал трубку и смотрел в окно. Он видел большой кус вырубленного сада, где теперь была пустыня, называемая Царицыным лугом. На поле не было никакого разнообразия, никакой зелени, но на песке сохранились следы коней и солдат. Куренье нравилось ему всеми статьями: набивкой, придавкой, затяжкой и дымом. С куреньем человек никогда не пропадет. Этого было достаточно, так как вскоре наступал вечер и он уходил к приятелям или просто погулять.

Он любил вежливость простонародья. Однажды мещанин сказал ему, когда он чихнул: «Спица в нос невелика — с перст».

Перед сном он садился играть со своим денщиком в карты. Он выучил играть денщика в контру и в памфил, и когда денщик проигрывал, поручик хлопал его колодой по носу, а когда он сам проигрывал, то не хлопал денщика. Наконец он осматривал начищенную денщиком амуницию, сам завивал, заплетал и салил косу и ложился спать.

Но теперь он не расправился, мышцы его были надуты, и дыхания было не слышно у поручиковых сомкнутых губ. Он стал рассматривать разводную площадь, и она оказалась незнакомой ему. По крайней мере, он никогда не замечал раньше карнизов на окнах красного казенного здания и мутных стекол.

Круглые булыжники мостовой были не похожи один на другой, как разные братья.

В большом порядке, в сером аккурате, лежал солдатский С.-Петербург, с пустынями, реками и мутными глазами мостовой, вовсе ему незнакомый город.

Тогда он понял, что умер.

8

Павел Петрович слышал шаги адъютанта, кошкой прокрался к креслам, стоявшим за стеклянную ширмой, и сел так твердо, как будто сидел все время.

Он знал шаги приближенных. Сидя задом к ним, он различал шарканье уверенных, подпрыгиванье льстивых и легкие, воздушные шаги утраченных. Прямых шагов он не слышал.

На этот раз адъютант шел уверенно, он подшаркивал. Павел Петрович полуобернул голову.

Адъютант зашел до середины ширм и склонил голову.

— Ваше величество. Караул кричал подпоручик Кижэ.

— Кто таков?

Страх становился легче, он получал фамилию.

Этого вопроса адъютант не ждал и слегка отступил.

— Подпоручик, который назначен в караульную службу, ваше величество.

— Для чего кричал? — Император притопнул ногой. — Слушаю, сударь.

Адъютант помолчал.

— По неразумию, — лепетнул он.

— Произвесь дознание и, бив плетью, пешком в Сибирь.

9

Так началась жизнь подпоручика Кижэ.

Когда писарь переписывал приказ, подпоручик Кижэ был ошибкой, опиской, не более. Ее могли не заметить, и она потонула бы в море бумаг, а так как приказ был ничем не любопытен, то вряд ли позднейшие историки даже стали бы ее воспроизводить.

Придирчивый глаз Павла Петровича ее извлек и твердым знаком дал ей сомнительную жизнь — описка стала подпоручиком, без лица, но с фамилией.

Потом в прерывистых мыслях адъютанта у него наметилось и лицо, правда — едва брезжащее, как во сне. Это он крикнул «караул» под дворцовым окном.

Теперь это лицо отвердело и вытянулось: подпоручик Кижэ оказался злоумышленником, который был осужден на дыбу или, в лучшем случае, кобылу — и Сибирь.

СОДЕРЖАНИЕ

КЮХЛЯ. <i>Роман</i>	7
СМЕРТЬ ВАЗИР-МУХТАРА. <i>Роман</i>	257
ПУШКИН. <i>Роман</i>	611

Приложение

Подпоручик Кижэ. <i>Сатирический рассказ</i>	1043
Восковая персона. <i>Повесть</i>	1066
Малолетный Витушишников. <i>Повесть</i>	1151
Четырнадцатое декабря. <i>Пьеса</i>	1192
<i>Светлана Голова. История нужна, чтоб видеть современность</i>	1242